

П р о

В и н

Гамлетовский вопрос

Ц и а

Л ы

ПРОВИНЦИАЛЫ

Виктор Кустов

18+

Виктор Кустов

**Провинциалы. Книга 3.
Гамлетовский вопрос**

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Кустов В. Н.

Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос / В. Н. Кустов —
«ЛитРес: Самиздат», 2014

Эта книга о восьмидесятих годах, когда страна Советов столкнулась с проблемами, которые не в силах была преодолеть. Это время начала перемен, гласности, падения коммунистического режима. Герои повествования по-разному переживают череду судьбоносных событий. Основное действие разворачивается на беспокойном Северном Кавказе.

© Кустов В. Н., 2014
© ЛитРес: Самиздат, 2014

Содержание

Соблазн бунта	5
Жажда перемен	19
Опасные игры	43
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Соблазн бунта

Виктор Красавин родился в семье кадрового военного. Красавин старший безоговорочно подчинялся приказам, часто менял место жительства и таскал за собой в новые, как правило, необжитые места сначала молодую жену – соблазнившуюся некогда формой и яркими погонами десятиклассницу захолустного городка, в который он приехал к другу погостить, затем и сына, которому не суждено было вырасти, потому что в далеких среднеазиатских степях он, уже уверенно бегающий на своих кривеньких ножках, вдруг заболел и стремительно, за два дня, в течение которых в их городок так и не доехал специалист по детским болезням, а свой военврач ничего в них не понимал, как, впрочем, и во многих взрослых, сгорел, определив тем самым разные пути тех, чью жизненную нить он должен был продолжать.

Старший лейтенант Красавин остался один, не найдя, чем утешить некогда восторженную поклонницу, написал рапорт о переводе куда-нибудь в глушь, в снега, ему пошли навстречу, отправили туда, куда по доброй воле мало кто соглашался ехать и где уже капитан Красавин в конце концов встретил заледеневшую от долгой зимы белолицую и белотелую библиотекаршу, которая долго его уговаривала все же попытаться с ней родить еще одного Красавина, и, уже почти майором, зная, что в ближайшее время ему грядет новое, на этот раз хорошее назначение туда, где будут всякие врачи, включая и детских, наконец уступил, старательно попотел в жарко натопленной комнатухе, отрицающей сорокаградусный мороз за потрескивающими от такого контраста деревянными стенами, и зачатый на краю земли Витя Красавин родился за тысячи верст от белоснежной пустыни в ухоженной и теплой Европе, почти в самом ее центре, в стране, с которой некогда пришлось воевать его отцу и где навсегда суждено было остаться его деду. (Второй дед это время провел в местах не столь отдаленных, куда он попал по 58 статье и где остался навеки, передав свои гены местной, тоже сосланной женщине, у которой, в свою очередь и в свое время, родилась девочка, ставшая Витиной матерью.)

Свои юные годы, естественно, Витя помнил смутно, как и военный городок на стремительно приходящей в порядок, исковерканной военным лихолетьем земле, как и своего отца – майора, бравого в те годы, днями пропадающего на службе, излечившегося от долголетней тоски по своей первой жене, любившего в дни праздников и войсковых событий крепко выпить и хорошо закусить, и свою мать, бывшую еще в то время худенькой и скромной, почти неслышной девушкой (она была младше отца на одиннадцать лет). Он по-настоящему осознал и свое родство с ними, и плавную, заросшую сочными желтыми кувшинками и белыми лилиями речку с песчаным обрывистым берегом, и островки березовых перелесков, и таинственную чащу с высоким папоротником гораздо позже, когда уже начал вдумчиво познавать этот мир на новом месте службы в тихой Белоруссии, где отец командовал большей частью, был подполковником на генеральской должности, а располневшая и ставшая уверенной мать заведовала библиотекой, отчего Витя ни в чем не знал отказа, не сомневаясь, что все солдатики, которые встречаются на его пути, должны так же беспрекословно выполнять его приказы, как и приказы отца.

Это было славное, безмятежное время полной гармонии с окружающим миром и людьми.

Это было время первой неразделенной любви в четвертом классе, когда уже полковник Красавин готовился к последнему назначению.

Но вдруг что-то не сложилось в этом назначении. Не сложилось в получении генеральского звания. Как не сложилось у Вити с его любовью (девчонка с двумя торчащими косичками и вздернутым носиком почему-то не соглашалась выполнять его желания), и они, необъяснимо и жестоко для него, вдруг переехали с берегов ласковой реки в душный южный городок, в котором и остались после увольнения отца из армии, так и не дослужившегося до генеральских

лампасов, и, как уже знал Витя, исключительно по вине материнской родни, которая в свое время не учла собственной роли в будущей жизни их потомков...

Отец запил.

Потом вдруг надумал искать свою первую жену, о которой стал рассказывать матери, Виктору, соседям – таким же военным пенсионерам, собирающимся «забивать козла» во дворе, охваченном каре многоэтажек, – говорить, что она единственная, без кого он не может жить, и наконец свою угрозу уехать к ней привел в исполнение, исчезнув невесть куда.

Мать отнеслась к этому спокойно. Она была уже солидной и уравновешенной дамой (так и не отогревшейся за эти годы, поэтому любившей жару, которая не нравилась отцу), работала в городском управлении культуры и не считала, что именно ее родня подрубила мужу крылья, а винила во всем пристрастие того к спиртному, о котором знала вся армия, а может быть даже и все Вооруженные силы СССР.

Витя, уже выпускник школы, тоже к такому финту папаши отнесся спокойно (он был более близок с матерью), удовлетворив любопытство знакомых историей о поездке бати по местам боевой юности и обещая, что тот долго не пропутешествует. И оказался прав. Хотя отец нашел свою первую и, как он говорил, настоящую любовь – но было уже поздно, та была замужем, нарожала кучу детей (сколько, из сумбурного рассказа выпившего за возвращение Красавина-старшего так никто и не понял), и, протрезвев, наотрез отказался вспоминать прошлое.

Витя поступил в институт в столице большого края, прокаленного солнцем и пропитанного негой плодородия, недалекого моря и обширных полей, и легко его закончил. Больше, чем занятиям, он уделял внимание общественной работе и попыткам сблизиться с девушками (это у него плохо получалось, сказывался первый негативный опыт), наконец, уже отчаявшись понравиться кому-то из тех, кто нравился ему, на четвертом курсе подружился с однокурсницей, которая была похожа на его мать в молодости – такая же тихая и неприметная, стал изливать ей свою душу, оттаивая (по-видимому, и за мать тоже) в восторженном взгляде карих глаз, и наконец удовлетворил свою жажду познать таинственную женскую плоть, в первый раз, правда, опозорившись, не донеся свое семя до предназначенного тому места, но обидеться на самого себя и засмущаться не успел – Инна выразила такой восторг, так стала его ласкать, что он через несколько минут исправил ошибку и заставил ее вскрикнуть, после чего они оба ощутили себя счастливыми и соединенными...

В отличие от собственного зачатия, которому предшествовала долгая череда ночей, эта первая в его жизни близость с девушкой была плодотворной, через два месяца стали очевидны ее последствия, и, до конца не осознав, действительно ли он любит Инну, но ясно понимая, что дальнейшие сомнения в этом могут привести к разрушению всего выстроенного за эти годы (он был секретарем комитета комсомола факультета, активистом и перспективным дипломником), он предложил Инне сходить в ЗАГС.

Штампы в паспорте они отметили скромно, но сразу же после этого Витя свозил молодую жену на показ матери, которой та не очень понравилась. Но изменить она уже ничего не могла. Отец же, который теперь окончательно успокоился, доведя ежедневный прием тонизирующего до чекушки и четко выдерживая этот распорядок (в обед, вечером и на ночь), отнесся к невестке с большим вниманием, не скрывая своей симпатии и охотно рассказывая внимательному слушателю о своей героической жизни во имя страны и таких, как она, юных женщин...

Затем молодожены поехали к ее родителям, которые жили в соседнем крае тоже столичном городе. На этот раз он не понравился сухой и стремительной теще, работавшей в строительном управлении прорабом, умеющей вставить крепкое словцо и припечатать его ударом маленького, но жесткого кулака по столу, а тесть, рядовой бухгалтер в той же конторе, полностью подконтрольный своей властной супруге и несчастный отец еще двух младших дочек (все старался, пацана хотел), втихую предложил Виктору заглянуть в рюмочную, полагая, что

у новоявленного зятя должны быть денежки – как никак сынок полковничий (свою зарплату, всю без утайки, он отдавал жене)... Потягивая портвейн и разглядывая краем глаза старинное здание напротив, входящих и выходящих из него людей, Витя никак не предполагал, что это здание и этот подъезд с крылечком и старинной дверью скоро примелькаются и станут привычными, как подъезд и дверь дома, в котором живешь...

...После института ему предложили поработать инструктором в крайкоме комсомола. Сказались бурная общественная деятельность на пятом курсе, куда он бросился сломя голову от беременной, капризной и слезливой жены, хороший средний балл в дипломе (почти красный), умение в разговоре с комсомольскими функционерами находить верный тон, плодovitость на общественно-полезные идеи, которые он охотно раздавал тем же функционерам.

Еще раньше он отправил жену, взявшую академический отпуск, к родителям, убедив ее, что так ей будет лучше, потому что он никак не сможет ей уделять достаточно времени, да и с ребенком им вдвоем будет трудно, а там все-таки опытная теща, родные стены...

Инна родила, когда Виктор как раз готовился к госэкзаменам, поэтому даже не смог вырваться, взглянуть на новорожденную дочь, а заскочил всего на денек, когда той уже был месяц и она на удивление смысленно разглядывала его, не вызывая никаких отцовских чувств, а только любопытство, что вот так, вроде бы из ничего, какой-то там жидкости, появился на свет в свое время и он.

К жене он тоже не испытал при этой встрече ничего волнующего, хотя выбрал несколько минут, чтобы утолить мужское желание, но особого удовольствия от этого не получил, может, потому, что никак не мог привыкнуть к ее изменившемуся телу, особенно к налитой груди, как и к неожиданной нескромной ее жадности, охотно раскинувшейся под ним...

Они договорились, что он заберет Инну с дочерью, когда обживется, обустроит выделенную ему комнату в общежитии – гостинице крайкома партии, но, когда уже стал в крайкомовских коридорах своим, да и комнату привел в порядок, все ссылаясь, что еще рано, правда, регулярно определенную толику от своей зарплаты жене высылал.

Так они прожили еще год, видясь считанные дни, когда он ненадолго ездил в соседний город, пока Инна не решила закончить институт и не оставила на младшую сестру, с которой у нее были теплые отношения (теща наотрез отказалась), уже начавшую ходить дочь и приехала к нему.

Этот период они прожили довольно хорошо, он даже оценил, как приятно приходить домой к готовому ужину и ложиться в постель рядом с теплой и всегда готовой выслушать накопившееся, а затем лаской снять напряжение женщиной. Вместе с женой он раза четыре ездил проводить дочь, которая удивительно быстро росла и уже называла его папой, заставляя примерять это слово к себе, но воспринимал он ее как-то отстраненно, совсем не чувствуя, что в маленьком и неловком черноволосом, с большими распахнутыми глазами существе течет его кровь, воспринимая больше как иного, чем все прочие, человека...

На работе все складывалось неплохо, идеи его, как правило, становились востребованными, а умение их гладко излагать на бумаге сделали его незаменимым при написании выступлений и докладов первому секретарю крайкома комсомола (их было немало), отчего он попал в особое положение, которому остальные инструкторы завидовали. Это приближение к комсомольской верхушке, знание идеологических кухонных секретов сыграло совершенно неожиданную роль: ему вдруг разонравилась кабинетная суэта, которая, оказывается, в итоге рядовым комсомольцам не была и нужна, а служила только для того, чтобы удовлетворять чьи-то карьеристские притязания, создавая своеобразный трамплин для другой, взрослой и уже по-настоящему весомой суеты. Готовя доклады, он перелопачивал множество книг классиков марксизма-ленинизма, прошлых и нынешних теоретиков социализма, ловко и к месту вставлял цитаты, но скоро заметил, что восторженно-романтические предположения теоретиков самого справедливого строя и действительность зачастую не совпадают, а порой даже вступают

в явное противоречие. Попытался это обсудить с наиболее толковыми коллегами, но они явно не разделяли его сомнений, не хотели углубляться и советовали не ломать голову над тем, что не имеет никакого значения и даже может повредить его собственной карьере...

Работа, которая прежде приносила удовлетворение, в которую он вкладывал (втайне гордась своим местом и ролью) свежие и порой дерзкие мысли, и затем, после озвучивания краевым комсомольским лидером, разделял их значимость (получая тайное удовольствие от своей причастности), вдруг утратила смысл. Теперь все больше стало встречаться цитат, которые шли вразрез с последними установками центрального комитета ВЛКСМ или реалиями повседневной текущей деятельности немаленького аппарата крайкома. Он начал вставлять в доклады алогизмы, порой нелепицы и потом в нетерпении ожидал, заметят ли, вычеркнут, но, как правило, последний вариант никто не правил, докладчик зачитывал все, что было написано, не особо вдумываясь в произносимое.

Что-то стало ломаться в доселе стройном и ясном мироощущении Виктора. Прежде непонимание и огорчение вызывали лишь отношения между набирающей с годами властность матерью и становящимся слезливо-сентиментальным отцом, в котором теперь трудно было даже узнать бывшего грозного полковника. Это было так же противоестественно, как и неподчинение его желанию все еще не забытой девочки с берегов неспешной реки, и как расхождение между словами и делами тех, кто считал себя выразителем чаяний миллионов молодых людей огромной многонациональной страны...

Красавин-младший, что непостижимо было для Красавина-старшего, заболел давно изжитой и считавшейся постыдной, но все-таки русской болезнью – хандрой, но не запил, не стал прятаться от того, что его окружало, а достал путевку и поехал на берег моря в санаторий для избранных, где поправляли здоровье в основном женщины, которые, похоже, были более чувствительны ко всякого рода переживаниям, и оказался самым молодым среди немногочисленных серьезных мужчин, отчего даже не успел ничего понять, как закрутился между двумя женщинами: одна была москвичкой, женой перспективного цеховского работника, полноватая крашенная блондинка с вызывающе-брезгливым выражением лица; другая – киевлянка, дочь партийного руководителя, жгучая и поджарая брюнетка, резкая в движениях и суждениях, привыкшая брать инициативу в свои руки.

Киевлянку звали Лилей, она была соседкой по столу, заговорила с ним в первый же день, когда он от незнания нового места, ситуации, в которой оказался впервые в жизни, был уязвим и мягок. Она тут же взяла над ним шефство, провела по санаторию, показала собственный одноместный номер (Витя жил в двухместном с соседом, пожилым директором шахты из Донецка), потом потащила на пляж, где продемонстрировала модный и довольно откровенный купальник, чуть прикрывающий соблазнительные, бесспорно воздействующие на мужчин формы, а вечером – на танцы, на которых они были самой молодой парой, а оттого даже и не сомневались в своем взаимном (для легкого флирта) выборе (выбрала, собственно, Лилия).

Он остался у нее в первую же ночь.

В номере было душно, морской бриз, тянувший в распахнутую дверь балкона, лишь чуть-чуть смягчал зной. Лилия жаловалась на неумение современных мужчин красиво ухаживать, на низкий культурный уровень фигуристых местных красавцев с акцентом, которые здесь ей уже надоели, на то, что всем мужчинам нужно всегда одно и то же, как будто в этом весь смысл отношений двух полов, а ведь есть духовная жизнь, есть искусство, о котором можно поговорить...

Красавин сначала лениво, а потом заражаясь ее горячностью, стал спорить, доказывая, что подобные претензии огульно ко всем мужчинам сразу необоснованны, хотя, естественно, допускал: не все представители его пола умны и галантны, как этого бы ей хотелось.

Что же касается того, что им всем (и ему тоже) нужно лишь одно, она слишком упрощает, потому что это одно складывается из множества оттенков и ощущений: из манящего

тембра голоса, волнующего разговора взглядами, вызывающего разряд прикосновения друг к другу, сводящего с ума запаха кожи, неудержимого напряжения мышц, совместного возбужденно-сбивчивого дыхания, жадного нетерпения, наконец, опьянения от осознания согласия единения двух тел...

И, расписывая все это, он вдруг сам поверил, как замечательна близость двух полов, и продемонстрировал все это на ставшей покорной Лиле, впервые в жизни получив не испытываемое никогда прежде, несмотря на свой семейный опыт (у них с Инной все было буднично), наслаждение от обладания женщиной...

Обнимая – после мгновений взаимной потери памяти – прижавшееся к нему упругое тело чувствительной Лили, сознавшей, что ей еще никогда не было так хорошо с мужем (который, оказывается, у нее все-таки был и работал в какой-то то ли слишком солидной, то ли секретной организации), он мысленно сравнивая двух женщин, ее и жену, стараясь понять, почему такой безмятежной и безвинной легкости, как с Лилей, он не испытывал ни разу с самой первой ночи с Инной... И пришел к выводу, что причина именно в жене, в том, что она слишком большое внимание уделяет физической близости, в то время как Лилия все эти вечные мгновения не отводила взгляда зеленоватых глаз и они близки были не столько нижней половиной тел, сколько чем-то более тонким, неосязаемым, наиболее сильным...

И вдруг вспомнилась та, отвергнувшая его девочка, и, глядя на изогнувшуюся в истоме покоя и насыщения Лилию, он впервые пожалел не себя, а ту девочку, потому что никто, он был в этом уверен, никто, кроме него, не мог дать ей блаженства обожания... И улыбнулся от понимания, как она была глупа, что не догадалась об этом...

На следующий день Лилия не вышла на завтрак, он застал ее в прострации, в нравственных мучениях, она не хотела его видеть, истерично замахала на него руками и с треском захлопнула дверь. Сначала он обиделся, потом постарался понять и, кажется, понял, потому что она в момент их близости назвала его Вадиком, вероятно, она все-таки любила своего мужа и поддалась настроению, очарованию слов, как, впрочем, и он сам, ведь он тоже помнил о жене... Поэтому вновь ощутил себя свободным, к тому же теперь уверенным в себе мужчиной, самцом и один пошел на пляж.

На пляже он сам познакомился с Оксаной Ивановной, потому что не смог пройти мимо: легкая полнота и выделяющаяся рядом с другими мраморность кожи (она лежала под большим зонтом) возбуждали его, как ничто другое, порой пугая всплеском неудержимой животной страсти. В такие мгновения он понимал насильников, которых представлял в образе древнеримских легионеров (может, оттого, что под их доспехами не предполагалось наличие белья и вскинуть собственный подол, как и подол добычи, было делом одного движения), которые брали женщин, изливая в них звериное напряжение сражения, страх смерти, восторг собственного спасения, ненависть к поверженному противнику, которому эта женщина принадлежала.

Он присел с ней рядом и не удержался, коснулся ладонью начинавшей краснеть спины, переживая за неизбежные изменения этой соблазнительной белизны, и, когда из-под широкополой шляпы вывернулось белокурое пухленькое личико с капризно сложенными губками, готовое выпалить нечто жальщее (как делает это змея, по-

чуявшая опасность), голосом, пропитанным не желающим быть тайным желанием, произнес:

– У вас такая чувствительная кожа... Я бы посоветовал больше сегодня не загорать.

И Оксана Ивановна, тридцатилетняя, знающая себе цену и не терпящая пляжных приставаний, тем более неотесанных южных мальчиков, которые больше всего любили свое «облако в штанах», считая это главным достоинством (за последние пять лет, когда стала регулярно отдыхать одна, она в этом уже разобралась), неожиданно для себя кокетливо удивилась:

– А это заметно?

И Красавин уже без сомнений стал нежно гладить ладонью ее спину:

– Вот здесь уже пятнышко... И здесь покраснело...

Легко проскользил ладонью до резинки купальника, с трудом удержавшись, чтобы не просунуть руку дальше...

И Оксана Ивановна, что совсем на нее не было похоже, не только не оттолкнула эту наглую, по-хозяйски ползающую по ней руку, но даже поблагодарила и поинтересовалась, не местный ли он спасатель, на что этот условно симпатичный молодой мужчина (она почему-то была уверена, что не юноша) засмеялся, искренне удивляясь, как можно его, серьезного человека, имеющего жену, дочь и ответственную работу, принять за местного ловеласа, у которого вместо серого вещества пляжный песок...

Оксане Ивановне его монолог понравился, она задорно посмеялась и, не задумываясь, согласилась сходить вместе с ним в море, немножко поплавать перед обедом...

В воде они расшалились, как дети, и он вдоволь наслаждался прикосновением к еще более соблазнительным на ощупь телесам, отмечая случайные касания тайных мест и воображая, какими сильными будут эти ощущения, когда ему будет позволено...

Он обрадовался, что Лиля не пришла и на обед, подождал возле столовой Оксану Ивановну, отметив, что в сарафанчике с тонкими ляпочками на голых, чуть посмуглевших плечах, в белых босоножках на высоком каблуке, из которых тянулись вверх налитые ножки, она вызывает не меньшее желание, и оттого повел ее за скалу, отделяющую пляж от безлюдного и каменистого берега, обещая показать невесть что, и, так и не придумав, что же на самом деле он покажет, просто предложил искупаться голышом. И она неожиданно согласилась, даже не стала просить его отвернуться, а разделась перед ним, без стеснения демонстрируя себя всю, такая доступная и сводящая с ума, что он даже не почувствовал боли, когда, обхватив ее, упал на спину, и уж потом перевернулся, стал мять ее (как римский легионер!), отчего она пожалела о сделанном, вообразив очередное «облако в штанах», и словно передала ему свои мысли, он решил не торопиться прочувствовать сполна легионера в себе и сумел заставить ее забыть обо всем, даже о гальке, впивающейся в спину и ягодицы... (Впрочем, как она поняла позже, именно гальке она и была обязана таким ошеломляющим эффектом. А может, всему вместе: гальке, шороху волн, жаркому солнцу, ощущению, что кто-то подглядывает за ними, и совсем немножко тому, что происходило непосредственно между ними.)

...На следующий день Лилия наконец появилась, вызвав у Красавина совсем иные чувства, чем Оксана. Ей, очевидно, не нравились легионеры и насилие, не нравилась собственная слабость, не нравились тайные желания, не нравилась своя и чужая плоть, и в то же время все это порождало с трудом преодолимое любопытство ко всему неприятному и постыдному. А оттого, что она не могла этого понять, ей хотелось то смеяться, то плакать, то сливаться с мужчиной в желании вобрать его в себя, словно собственный выношенный плод, как можно больше, то исторгнуть, колотить маленькими острыми кулачками большое и тяжелое тело. Из-за этих перепадов в желаниях она, собственно, и приехала в этот санаторий. По этой же причине опять потащила Виктора к себе в номер, но теперь не уронила себя, а просто поговорила, расписала своего мужа: сильного, уверенного, перспективного, замечательного мужчину, заботливого и любящего, и, наконец, выставила Виктора за дверь, вполне удовлетворенная собой и поклявшаяся не делать больше глупостей, потому что Вадим по сравнению с Виктором был красавцем и настоящим мужчиной...

Только в последний вечер перед отъездом она позволила Виктору полюбить себя, потому что захотелось сохранить память о соединении взглядов и об ощущении чего-то непостижимого, чтобы потом повторять это с мужем. Но на этот раз он взгляд отводил, раздражая ее, отчего она сжимала ноги, изгоняла неблагодарную чужую плоть и в конце концов заставила его исторгнуть семя на простыню и обрадовалась, что ей не придется ничего таить от мужа, потому что ничего и не было...

...Оксане не понравилась близость в санаторном номере, она предложила ему еще раз сходить за скалу, сама раскинулась на гальке, как и в первый раз, охотно вертелась, подчиняясь его насилию, но то ли оттого, что ее кожа за это время утратила мраморный оттенок, то ли от отвлекающих мыслей о потном теле под ним, уехавшей Лиле и ничего не знающей о его изменах жене он сам так и не смог пережить бывшего сумасшествия, да и она, похоже, не получила того, чего хотела, потому что сразу побежала в море, торопясь смыть его с себя...

И все-таки Красавин вернулся в город другим, оставив на побережье хандру, сомнения в важности того, что он делает. С новой энергией он приступил к написанию очередного доклада, который был посвящен очередному пленуму, отнесся к написанию творчески, вложив множество умных и уместных цитат и интересных собственных мыслей, и был страшно удивлен, когда доклад вернулся к нему весь перечерканный красным карандашом, с лаконичной надписью на углу «чересчур умно!».

Пару дней он был в полной растерянности, сравнил доклад с предыдущими речами, утвердился в мысли, что они были менее интересны, и ничего не придумал, кроме как выбросить самые лучшие, на его взгляд, цитаты, заменить редко употребляемые слова и выражения и вновь отдать его докладчику.

На этот раз шеф ничего писать не стал, а, вызвав Красавина, довольно долго говорил, что надо быть проще и доступнее трудящимся массам, не демонстрировать свою грамотность, а излагать самые сложные вещи доходчиво и популярным языком, и если их нельзя изложить так, чтобы было понятно последнему троечнику, значит, совсем от них отказаться. В конце этой доверительной беседы уверенный в своей непогрешимой правоте (хотя был всего на пару лет старше Виктора) комсомольский лидер напомнил, что времени не осталось, поэтому привести доклад в соответствие, то есть изложить все проще, убрать всякого рода обобщения, необходимо как можно быстрее. И главное, естественно, вместо всяческих заумных высказываний мудрецов побольше ввести цитат из текущих документов прошедшего пленума центрального комитета комсомола, никогда не устаревающих партийных документов, передовиц «Правды» и «Комсомольской правды».

С одной стороны, времени действительно не оставалось, а с другой, и в этом Красавин себе честно признался, оглупить доклад до требуемой степени доступности он при всем старании уже не смог бы, это оказалось гораздо труднее, чем придумывать и складывать умные и что-то значащие фразы. Для этого необходимо было напрочь забыть все знания, которые он с таким старанием накапливал последние годы...

Но кому-то это удалось, в озвученном варианте он услышал лишь несколько фрагментов из своего текста, остальное было каким-то набором обтекаемых, трудно понимаемых, помпезных фраз, убаюкивающих безликих цитат из резолюций и докладов. Одним словом, получился уродливый образчик соединения «коня и трепетной лани».

Первым желанием было пойти к шефу и высказать все начистоту, но Виктор уже кое-что понимал в правилах комсомольско-аппаратных игр, поэтому порыв этот пригасил и стал ждать развития событий в своем кабинете, являясь строго к началу рабочего дня и покидая его позже многих, усиленно штудировав первоисточники главного учения социалистической современности, дабы на всякий случай вооружиться аргументированными ссылками на непререкаемые авторитеты.

Так он, стоит отметить, в свое удовольствие и с большой пользой поработал несколько дней, а потом ему поручили написать небольшое выступление перед очередными победителями социалистического соревнования. Он неожиданно долго над ним просидел, уже отдавая себе отчет, что не может, как прежде, легко и не особенно вдумываясь, основываясь на частных примерах, слагать словесную вязь, видя необходимость даже в этом коротком поздравлении – напутствии отразить глубинную связь с развитием производственных отношений в странах иной политической ориентации... И в конце концов, написал так, как считал нужным.

Отдавая текст, он уже предвидел его судьбу, готовясь отстаивать каждую фразу, каждый абзац, но на этот раз доклад даже не вернулся к нему, а из уст шефа прозвучал совершенно незнакомый ему примитивно-лозунговый, лишенный всяческой понятной мысли панегирик самоотверженному труду.

И с этого дня стало очевидно, что здесь ему работы больше нет (организацией деятельности первичек он не занимался и не умел это делать), а спустя неделю его стали привлекать к проведению различных мероприятий, используя, как самого неопытного инструктора, на посылках и побегушках, и, когда чаша его терпения переполнилась, он взял отпуск «по семейным обстоятельствам», поехал в соседний край к теще с тестем, жене и дочке, где вдруг ощутил семейный уют, полноту жизни и постиг истинность изречения «мой дом – моя крепость».

Он не стал ничего рассказывать Инне, объяснив свой неожиданный приезд желанием побыть с ней и дочерью, чем несказанно обрадовал и сделал надолго счастливой, отчего даже теща подобрела, позволив мужу угощать желанного зятя пивом и портвейном.

В атмосфере всеобщей любви и внимания он прожил неделю и в один из последних пронзительно прозрачных и теплых дней золотой южной осени пошел в большое прямоугольное здание, расположенное в центре этого нового для него, но уже постепенно узнаваемого города, где в одном из подъездов размещался краевой комитет комсомола.

Инструктор орготдела Вячеслав (как он представился), понастоящему красивый парень, улыбочиво-обходительный, с приятными манерами и несвойственной для подобных учреждений (это Вик тор уже знал) интеллигентной учтивостью, подробно расспросив его о родителях, семье и недлинном трудовом пути, проявил неожиданное заинтересованное участие, стал предлагать вакантные места в подведомственных структурах. Это были должности секретарей первичных организаций или инструкторов в сельских райкомах, что Красавина никак не устраивало: комсомольским функционером он себя не видел. Но в списке, который Вячеслав зачитывал, вдруг мелькнула должность заведующего отделом пропаганды краевой газеты, и он заинтересовался, признавшись, что на прежнем месте именно написанием докладов в основном и занимался.

– Вот как, – почему-то обрадовался Вячеслав. – Знаешь, Виктор, это просто замечательно, второй месяц не можем эту вакансию закрыть.

Зеленого выпускника университета не поставишь, а хороших, проверенных, знающих комсомольскую работу журналистов не хватает...

Он тут же позвонил редактору, расписал Красавина так, словно тот уже матерый профессионал (хотя почему бы и нет, статьи за шефа Виктор тоже писал, и они публиковались в газетах), после чего Красавин отправился на ознакомительное собеседование в тот самый подъезд старинного особняка, который запомнил в свой первый приезд, когда тесть проводил с ним ознакомительную экскурсию, с заходом в рюмочную на зеленом проспекте в центре города...

Встреча с редактором была не столь оптимистичной и закончилась нетвердым обещанием дать ответ позже, тем не менее Красавин, отбросив последние сомнения, с настроением уже не изгоя, а победителя вернулся после отпуска на прежнюю работу лишь затем, чтобы написать заявление и получить положительную рекомендацию, о которой его попросил позаботиться Вячеслав...

Спустя время он узнал, что внешне такое гладкое перемещение из одного краевого центра в другой на самом деле во многом было обеспечено Виктору именно Вячеславом Дзуговым, безоговорочно поверившим в него, потому что их объединяла (и не случайно, наверное, свела вместе) некая мистическая схожесть судеб: отец у Дзугова тоже был кадровый военный, Вячеслав так же родился в Восточной Германии, затем рос в разных частях огромной страны Советов, наконец, очутился в этих местах, куда отец был направлен командовать военкоматом. Здесь Дзугов закончил институт, а отец ушел в отставку генералом, отчего пользовался уважением и, возглавляя организацию военных ветеранов, не растерял деловых связей в пар-

тийных верхах, а соответственно влияния, поэтому появление его сына, к тому же активного комсомольского лидера факультета, в штате крайкома комсомола неожиданностью ни для кого не было. Авторитет отца в какой-то мере унаследовал и Вячеслав, хотя старался этим подарком судьбы не особенно пользоваться. Но в отстаивании кандидатуры Красавина на должность заведующего отделом молодежной газеты он использовал все возможности, несмотря на противостояние редактора.

Редактор молодежи Сергей Белоглазов настаивал на том, что надо сначала взять Красавина в штат корреспондентом, посмотреть, сможет ли бывший комсомольский инструктор вообще писать, утверждал, что сочинять доклады и быть журналистом – это диаметрально противоположные виды деятельности. Провозгласив этот тезис в качестве главного аргумента против кандидатуры крайкома, Белоглазов тем самым только укрепил мнение первого секретаря крайкома комсомола, который, помимо того, что с уважением относился к старшему Дзугову (и шефствовал над младшим), втайне относил себя к пишущим людям и хотя доклады сам не писал, но с большим удовольствием работал над коллективными сочинениями, расставляя смысловые акценты, находя места, требующие правки или уточнения, выстраивая абзацы по собственной логике. Он хорошо запомнил и безоговорочно поверил утверждению любимого вузовского преподавателя о том, что человек, умеющий мыслить, обязан уметь излагать свои мысли на бумаге. Поэтому после фразы редактора, принижавшей мыслительные способности комсомольских активистов, он уже без колебаний поддержал Дзугова, аргументировав свое решение вполне объяснимой для всех недругов и завистников, способных раздуть из этого спора скандал, необходимостью иметь в редакции человека, знающего о работе в комсомольском аппарате не понаслышке...

...Пару недель Красавин привыкал к новому городу, семейной жизни, коллективу, превращению неосязаемых мыслей в осязаемые газетные полосы, волнуяще пахнущие типографской краской (у новости – запах краски!), от первой строки до последней внимательно читал в газете все материалы. По предложению Вячеслава побывал на совещании первых секретарей райкомов комсомола, с которого и сделал свой первый журналистский отчет.

И тот был отмечен сначала на редакционной летучке, затем на аппаратном совещании в крайкоме комсомола как глубокий и своевременный, поднявший острые вопросы и указавший конструктивное их решение.

После столь неожиданно быстрого признания его журналистских способностей Красавину вновь пришлось вспомнить и бывшее умение – первый секретарь крайкома комсомола стал давать ему на прочтение сочиняемые помощниками доклады и выступления и, в отличие от предыдущего шефа, огульно, на веру ничего не принимал и не отвергал, а приглашал Виктора (как правило, после рабочего дня) в свой просторный кабинет, где с ним дискутировал, советовался, искал более точные выражения.

Эти поздние посиделки уже на третий месяц работы сделали Красавина членом редакционной коллегии, обеспечили свободный график, независимость от должностных притязаний ответственного секретаря и заместителя редактора и вынужденное примирение со сложившейся ситуацией все так же продолжавшего относиться к нему настороженно Сергея Белоглазова.

В редакции он ни с кем близко не сошелся, но довольно скоро разобрался, кто есть кто. Редактор был хорошим журналистом, любил писать собственные материалы, над которыми работал подолгу и со вкусом в свободное от заседаний, совещаний, встреч (на которых был обязан бывать) время, но слабым администратором; поэтому практически руководил редакционной жизнью ответственный секретарь Вениамин Кривошейко, уже заматеревший и явно пересидевший на этом месте и, очевидно, оттого ежевечерне, за пределами рабочего времени, принимавший в своем кабинете в одиночестве тонизирующие сто граммов, после чего становился добрым и сентиментальным для тех, кто в это время еще оставался в редакции. В

остальное же время он нещадно, невзирая на должности, гонял всех, кроме Сергея Кантарова, Галины Селиверстовой и, естественно, заместителя редактора Евгения Кузьменко, длинного и тонкого, как жердь, эрудита, знатока современной литературы, заядлого шахматиста, любителя долгих философских бесед, отчего времени на исполнение собственных обязанностей ему, как правило, не хватало.

Габаритная семейная пара Кантаров – Селиверстова была в редакции на особицу благодаря таланту Кантарова (он писал остро, увлекательно и был бесспорным пером номер один) и интригам Селиверстовой – матроны женской половины редакции. После публикации первого материала нового заведующего отделом именно она, заглянув в кабинет Красавина, первой высказала свое восторженное мнение и сообщила, что так же считает и Кантаров, а вот редактору и ответственному секретарю статья не понравилась.

– А заместителю? – поинтересовался Виктор, уже оценивший хороший вкус Кузьменко.

– Женечка у нас вне игры, – двусмысленно произнесла она, многозначительно улыбаясь. –

А если сказать точнее, он, конечно, в игре...

Но в шахматной... И он никому не мешает...

И замолчала, давая возможность Виктору понять подтекст и без стеснения его разглядывая, словно выставленный на обозрение музейный экспонат или некую невидаль...

Красавин тоже молчал, так же откровенно разглядывая круглое лицо Селиверстовой, на котором выделялись большие глаза и ямочки на пухлых щеках, несколько смягчающие неприятную цепкость взгляда этих темных глаз.

– Скажи честно, тебе нравится наша газета? – неожиданно спросила она.

Он помедлил, прикидывая, стоит ли действительно быть честным, потом молча кивнул. За это время у него была возможность и оценить, что они делают, и сравнить с другими молодежными изданиями.

– Белоглазов – способный журналист, тут не поспоришь, Сергей его ценит... Но как руководитель он слишком добренький... Кривошейко – пересидевший ветеран, если не уйдет в ближайшее время куда-нибудь, скоро сопьется. Женечка Кузьменко – просто замечательный человек, эрудированный, грамотный, интересный собеседник, хороший корректор, но не больше. Я думаю, ты уже понял, что мозговой центр в редакции – Сергей... И он знает, как сделать газету лучше... Как перестроить работу в редакции... – Селиверстова выдержала паузу, давая ему возможность либо согласиться, либо возразить.

Он молчал.

– Между прочим, мы сначала думали, что ты чей-нибудь родственник, протеже, который писать не умеет. Извини, – ее лицо выражало искреннее дружелюбие. – Теперь вас с Сергеем двое, способных сделать настоящую газету... Белоглазова не сегодня-завтра отправят на повышение, он уже положенный срок отсидел, да и Кривошейко собирается в партийную газету, там в секретариате скоро вакансия будет. Мы опасаемся, что нам какого-нибудь комсомольского кретина посадят. Пусть уж лучше Женя Кузьменко будет... У тебя есть связи в крайкоме, и к первому ты вхож... – продемонстрировала она свою осведомленность.

– А почему Кантаров сам не сходит в крайком? – не отвечая, спросил он. – Если он видит, как сделать лучше...

– У него нет мохнатой руки, – усмехнулась Селиверстова. – К тому же он не член партии и его публикации начальству не нравятся... Так я передам Сергею, что ты не против разговора?..

Окинула пронзительным взглядом, ожидая ответа.

– Отчего же не поговорить, – бодро отозвался Красавин, стряхивая этот взгляд. – Я на месте, пусть время выберет, поговорим...

Такого ответа она не ожидала. Ее губы медленно растянулись в растерянной улыбке, отчего обозначились ямочки, делаая ее моложе и стройнее, она помедлила, потом вернулась в дверной проем, и он услышал приглушенное:

– Сергей тоже у себя в кабинете...

...Ни в тот день, ни на следующий Кантаров, естественно, к Красавину не зашел. Он тоже делал вид, что не может выкроить ни минуты, раскланиваясь с ним в коридоре или кабинете редактора на планерках. Селиверстову не было видно, Олечка, секретарь редактора, сказала, что она ушла на больничный. У Виктора было время поразмыслить над предложением. И он вынужден был с Селиверстовой согласиться: действительно, трех редакторов газета устраивала такой.

Материалы Кантарова, Селиверстовой, корреспондентов их отделов, а также четы Бере-
зинных заметно выделялись среди других и злободневностью тем, и нескучным изложением, и критикой. И в них явно чувствовалась правка Кантарова и, вероятно, его идеи.

Материалы остальных сотрудников были, как правило, обыденны, скучны и просто излагали факты. И сами они были незаметны в редакции, как и заведующий отделом писем Гриша Пасеков и заведующий спортивным отделом Костя Гаузов, оба немногословные, поджарые, постоянно пишущие и хронически не успевающие вовремя сдавать в секретариат плановые материалы, молча выслушивающие нарекания в свой адрес на планерках, летучках, редколлегиях и оживляющиеся к концу рабочего дня, когда исчезновение в неведомую остальным их личную жизнь уже не возбранялось...

Из корреспондентов и технических сотрудников редакции Красавин обратил внимание только на секретаршу редактора (примечательный бюст) и недавних выпускников Ростовского и Московского университетов, Кирилла Смолина (черненький, кудрявый, чем-то отдаленно похожий на Александра Сергеевича Пушкина, каким его изображают на гравюрах) и Мишу Ветрякова (флегматичный и упрямый, выходец из крестьянской семьи богатой пригородной станицы), работавших в отделах Кантарова и Селиверстовой. Они появились в редакции на месяц раньше Красавина и проходили, как говорил Сергей Кантаров, проверку на вшивость диплома. Эта проверка заключалась в том, что даже небольшую информацию они переписывали много раз. Кантаров требовал от них отточенности, которую не так часто можно было встретить и в центральной прессе, разве только в «Известиях», самой интеллигентной газете страны.

Миша Ветряков к возврату материала и нелицеприятным и несправедливым словам Кантарова о бездарности и неумении работать относился спокойно, молча выслушивал обидные пассажи старшего товарища и начальника и послушно возвращался к своему столу переписывать в очередной раз. Кирилл Смолин же начинал возражать, доказывать, что он сделал все, что мог, и информация или заметка вполне соответствует требованиям, предъявляемым к данному жанру.

Кантаров, ехидно улыбаясь, выслушивал сентенции («сопли-вопли полуюционного возраста, нет чтобы их на девок тратить») и отправлял Смолина за пирожками или за кефиром, по возвращении того отмечал, что с поручением тот справился просто замечательно. И в сроки уложился. И ничего по пути не уронил и не разбил. И советовал, если никак не хочет тот учиться писать, пойти торговать теми же пирожками... Или лучше пивом, там навар больше...

Став пару раз свидетелем таких профессиональных уроков, Красавин не сдержался, сказал Кантарову, что напрасно он так их ломает, ребята уже пишут вполне прилично, можно ведь и отбить всякую охоту.

– У профессионалов такого понятия нет, – не согласился тот. – Ты что, пишешь хорошо, только когда тебе хочется?.. У тебя есть своя планка, ниже которой нельзя. Да, я им сейчас ставлю ее на недостижимую для них высоту, но пусть выпрыгнут из детских штанишек, будем знать, на что они способны... Придет время, благодарить еще будут, – без сомнения закончил он.

И Красавин не нашел, что возразить, согласившись, что такой подход хотя и жесток по отношению к молодым корреспондентам, зато полезен для газеты...

После этого разговора они стали чаще заходить в кабинеты друг друга, нащупывая общее видение будущего газеты, обсуждая потенциал коллег, вырабатывая единое мнение, которое потом либо один, либо другой озвучивали на редколлегии. И, как Красавин понял, его голос нарушил сложившийся баланс сил. Ярый и нестигаемый Кривошейко, требующий неукоснительного выполнения плана по строкам, пусть даже в ущерб качеству, потому что газета – это «неостанавливающийся и выжимающий пот конвейер, ей не нужны красоты, размышлизмы и литературные изыски, нужен факт и строки», остался в одиночестве, хотя и при молчаливой поддержке редактора и двусмысленной позиции Кузьменко, заметившего, но довольно невнятно (только рядом сидящий Красавин и расслышал) что важно, чтобы и «строки были, и качество наличествовало»...

...К новому году Красавин уже чувствовал себя своим в редакции. У него установились почти доверительные отношения с первым секретарем крайкома комсомола, который перед особо важными выступлениями приглашал его и охотно делился своими мыслями, внимательно выслушивал мнение. Реально забрезжило получение квартиры (не без помощи Дзугова и первого секретаря), отчего в многолюдном доме тещи на смену затаенному недовольству от тесноты и связанных с этим неудобств (к тому же сестра Инны вот-вот собиралась привести в дом примака, залетевшего откуда-то с севера), пришли вновь мир и терпеливое согласие. Дочка ходила в детский садик, жена устроилась экономистом на завод. Все стали занятыми людьми, отчего ночные отношения между ними стали более обыденными, без прежних претензий. Ушли обиды. Наступило время гармонии и плодотворной служебной деятельности, от которой Красавина неожиданно отвлекла Марина Березина.

Он уже давно понял, что похожий на сон курортный дурман в его жизни был не случаен. Благодаря ему перестала сниться непокорная девчонка из отдаляющегося и забываемого детства, к тому же он познал два совершенно непохожих женских характера, а главное, обрел мужскую уверенность, избавившись от ощущения собственной ущербности. Он даже написал рассказ, который никому не показывал и хранил в нижнем ящике рабочего стола под томиком Плеханова, наследие которого сейчас изучал.

На Марину Красавин обратил внимание при первой встрече, она выделялась среди остальных женщин и девушек редакции и обжигающим взглядом, и соблазнительной фигурой, но глаз положил на секретаршу редактора, юную, свежую, аппетитную и наивную Олечку. Она была впечатлительна, трепетно-эмоциональна и обращалась к нему исключительно на «вы». Рядом с ней он ощущал себя если не принцем, то, без сомнений, загадочным и сильным рыцарем, а когда она, распахнув наивные глаза, приоткрыв маленький ротик, затаив дыхание, внимала его рассказам, он с трудом сдерживался, чтобы не подхватить ее на руки и не унести далеко-далеко... Но у Олечки был жених, юный и ломкий, со смазливеньким личиком, на котором постоянно держалась снисходительная усмешка, безусый водитель персоналки из крайкомовского гаража, соперничать с которым Красавин считал ниже своего достоинства и, когда видел того, ловил себя на жалости к глупенькой Олечке, не умеющей отличить истинной мужественности от ложной...

Под взглядом же лучисто-зеленоватых глаз Марины он чувствовал себя голым и нескладным. Он не мог понять что, но что-то в ней определенно было и от Лили, и от Оксаны, и от его жены. И таилась неведомая, но ощущаемая им опасность, которая и пугала, и манила одновременно.

Декабрьским туманным и промозглым вечером им выпало дежурить вместе по номеру. Она читала полосы днем, он был «свежей головой» и пришел на работу после обеда. Шли официальные материалы из Москвы, сдача номера задерживалась, в редакции оставались только они, телетайпистка, дежурившая у аппарата, и Кривошейко, закрывшийся в своем кабинете и становившийся с каждым выходом из него все веселее и разговорчивее.

В ожидании разрешения из столицы печатать официоз они сидели в его кабинете вдвоем, болтали о том, какой могла бы быть газета, если бы ее стал делать Сергей Кантаров, находя подобное развитие событий полезным и для газеты, и для краевого комитета комсомола, чьим органом она являлась. Красавин, войдя в раж, так нафантазировал это возможное будущее, что Марина его остановила.

– А ты ведь совсем не знаешь Сергея, – вдруг перебила она. – Он не о газете печется, а о собственной карьере. Пока мы ему помогаем, он с нами дружит, а станет редактором, как знать... Любой начальник умных да перечасших ему подчиненных не терпит...

Красавин помолчал, понимая, что та права, и неуверенно произнес:

– Но стоящее дело с помощью послушных бездарей не сделаешь...

– Где ты видел начальников, для которых дело важнее собственной карьеры? Неужели в крайкоме?..

Он хотел привести пример бескорыстного служения идее, должности, но, как ни старался, ничего подобного вспомнить не смог. Первый секретарь крайкома мечтал попасть в центральный комитет и неукоснительно выполнял все пожелания куратора, а московских гостей встречал и провожал самолично в ущерб любому делу. И Слава Дзугов озабочен был прежде всего карьерой, чего, кстати, и не скрывал, каждодневно оттачивая мастерство угадывания желания начальства и угождая ему...

Марина поймала его взгляд, долго не отводила свой, словно убеждаясь в чем-то, и он был не в силах прервать эту крепнущую связь, подчиняясь и теряя самообладание.

– Сергей с моим мужем тебя уже со всех сторон обсудили, – наконец произнесла она, отведя взгляд. – Пока ты им нужен, а потом все будет зависеть от того, как себя поведешь... Так что не очень-то обольщайся...

– А что же ты мужа выдаешь? – только и нашелся, как отреагировать, Красавин. – Все-таки близкие люди...

– А мы уже давно не близкие, – прищурилась она. – Олег – не тот мужчина, который мне нужен. Я была на первом курсе, он – старшекурсник, на третьем, проходу не давал, на коленях упрасивал... У меня до него парень был, мы с ним жили... – она нервно прикусила губу, словно останавливая себя. Потом все же продолжила: – Он мне изменил с подружкой. Я тоже пошла к Олегу... Забеременела после первой ночи, он узнал, счастлив был. Уговорил расписаться. Ушла в академический отпуск, к родителям приехала, родила. Он после защиты диплома приехал. Пошел работать... Сын подрос, я в Ростов поехала доучиваться, там своего первого встретила... Опять все закрутилось, счастливы были. Только вот свободными настоящих мужиков уже не осталось, жена, двое детей... Вернулась, все Олегу честно рассказала, предложила развестись, а он упрямился не уходить, сказал, что упрекать не будет. Родственники с двух сторон тоже в голос: нельзя, семья распадается, внук осиротеет... А мне с ним в одну постель ложиться не хочется... Мужчинам этого не понять...

– Почему же, – не согласился Красавин. – Мужчина тоже не всегда только одного тела хочет...

– Я так и думала, – глаза Марины необъяснимо заискрились, – ты ведь тоже не любишь свою жену...

Он собрался возразить, но она поднесла ладошку, пахнущую чем-то пряным, к его губам, и продолжила:

– И Сергей не любит свою толстушку... Все мужчины, которые не любят, озабочены карьерой... А вот Олег меня любит, поэтому карьера его совершенно не интересует, и все он делает только ради меня...

И сделает все, что захочу...

– А чем озабочены не любящие женщины? – спросил он, задыхаясь от этого запаха и касаясь губами ее ладони.

– Чем?.. – она убрала ладонь и, не отводя глаз, в которых явно было нечто непристойное, заставившее его покраснеть, подалась вперед, обдавая запахом весенней свежести, и шепотом произнесла: – Исключительно поиском любви... И в тебе, Витенька, есть что-то вызывающее женский интерес...

И это «Витенька», произнесенное с тайным и сладким обещанием чего-то в будущем (он не мог ошибиться, это действительно было обещание), заставило заколотиться сердце.

Он тоже подался вперед, неотвратимо приближаясь к ее губам, и тут в кабинет с телетайпной лентой в руке вошел пьяно улыбающийся Кривошейко...

– О, голубки, вашу степь... – и погрозил пальцем Марине. – Не совращай, нам штыки нужны, а не неврастеничные Ромео... Кстати, Олежек там тебя ждет... – пьяно махнул рукой назад, – в моем кабинете тоскует... – опустил телетайпную ленту на стол перед Красавиным. – Добро дали... Водочки не хочешь?.. – задумался, потер лоб ладонью. – Ах да, ты же, свежак... – подцепил Марину под локоть. – Потопали, искусительница, тебе, так быть, плесну, а ему нельзя, пусть читает. – И, уже выходя, вытянув в трубочку губы, с необъяснимым смешком прошипел: – Внимательно читай...

Они ушли, а Красавин остался сидеть, машинально перебирая ленту и не в силах сосредоточиться, все еще осмысливая услышанное от Марины и странное поведение ответственного секретаря, его напутственное пожелание, словно предупреждение о какой-то каверзе...

Жажда перемен

Должность руководителя литературного объединения давала Жовнеру возможность быть в курсе жизни писательской организации и планов крайкома комсомола, поэтому о грядущем краевом совещании молодых писателей его уведомили заранее, и было время не только собрать рукописи членов литобъединения, страждущих быть оцененными профессионалами, но и дописать собственную небольшую повесть о жизни маленького города у подножия гор. Семинар должен был пройти в конце лета, повесть он закончил в апреле, планировал вернуться еще раз к ней летом, но перед майскими праздниками его срочно вызвали в редакцию.

Он уже давно не ездил в Ставрополь, поэтому вез с собой пару серьезных материалов, над которыми работал последние недели, и всякую не оперативную мелочовку, надеясь порадовать ворчливого и вечно недовольного ответственного секретаря Кривошейко.

В кабинете ответсека за большим столом, на котором был непривычный порядок и чистота, сидел Сергей Кантаров. Он многозначительным жестом указал на стоящие возле стены стулья и, выбивая толстыми пальцами барабанную дробь по коричневой поверхности стола, словно не слыша его вопроса о Кривошейко, с пафосом произнес:

– Ну что, Александр, принимай отдел писем... Пора начинать пахать...

Усмехнулся, глядя на глуповатое выражение лица Жовнера, который все еще не мог ничего понять, и пояснил:

– Я – ответственный секретарь... Так что будем делать лучшую молодежную газету страны...

Жовнер уже слышал о назревавших переменах в редакции от огорченного Ставинского (тот так и не успел стать штатным сотрудником), но даже Леша не знал всех подробностей. Теперь Кантаров коротко изложил ему, что произошло всего пару дней назад.

Бывший редактор Сергей Белоглазов стал инструктором крайкома партии. Кривошейко – заместителем ответственного секретаря партийной газеты (пошел на повышение). Олег Березин заменил Кантарова, стал исполняющим обязанности заведующего отделом рабочей и сельской молодежи. Появился новый редактор, никому прежде в редакции не ведомый, но, по слухам, чей-то протеже или даже родственник большого партийного босса. (Сашка подумал, что уточнит это у Вячеслава Дзугова.) Остальные пока на своих местах.

– Пока, – подчеркнул Кантаров. – Примешь отдел, войдешь в курс, потом поговорим...

Откинулся в кресле, заслонив собой полстены явно маленького для него кабинета (отдельский был все-таки побольше, на три стола) и не скрывая удовлетворения от происшедших перемен.

– Материалы сдавай мне... Зайди к новому шефу, он с тобой собирался пообщаться... С ним уже все обговорено.

Сашка хотел заглянуть к Красавину, но его кабинет был закрыт.

И он, совершенно не настроенный на встречу с новым редактором (все-таки неожиданность), прошел в приемную, где грустная Олечка ответственно и прилежно печатала нечто на гремящей и звенящей машинке, которую слышно было даже в коридоре.

Бодро поздоровался, но она лишь приподняла голову, кивнула в ответ без традиционной улыбки, и Жовнер позавидовал Белоглазову: не всякая подчиненная будет так переживать смену начальства...

Он не мог предположить, что причина печали похожей на отличницу-старшеклассницу секретарши совсем не связана с уходом редактора (который когда-то и принял ее на работу), тем более что Белоглазов ей никогда и не нравился, как и большинство мужчин редакции (как тот же Жовнер, которого она почти и не помнила, так, временами мелькало что-то перед ней),

она лишь научилась всем улыбаться и делать вид, что ей очень интересно выслушивать напыщенные монологи воображающих себя умными и талантливыми самцов, на самом деле озабоченных только заглядыванием за вырез ее блузки.

Причина ее нынешнего состояния была в том, что ее послушный до последнего времени ухажер завел себе другую, и теперь она (хотя он ей был совершенно не нужен, так, бойкий, хорошо целовался, в кино водил, симпатичный, подружки завидовали) чувствовала себя обиженной, словно у нее, без ее согласия, забрали еще не совсем разонравившуюся игрушку. Новому редактору, такому же широкому, как большой и шумный Кантаров, только ростом пониже и не столь громогласному она изобразила самую преданную улыбку (хотя Белоглазов и обещал ее забрать к себе поближе, но мало ли как сложится...), но тот никак на нее не отреагировал, только напомнил, что она должна находиться на рабочем месте с девяти до шести...

Лучше, если бы посадили в этот кабинет Красавина, может, тогда она и стала бы отвечать на его ухаживания...

Жовнер постоял, ожидая обычной информации, занят шеф или доступ свободен, но не дождался и толкнул дверь.

...Новый редактор Анатолий Игнатьевич Заворотный сидел за столом и увлеченно доедал лоснящийся золотистый пирожок. Жовнер помедлил, не зная, как лучше поступить, прикрыть дверь или все же войти, но тот приглашающе взмахнул свободной рукой, проглотил последний кусок, обтер пальцы большим клетчатым носовым платком, все так же молча продолжая рукой указывать путь следования вошедшего по кабинету до стула напротив. Наконец, сложив, спрятал платок в карман висящего на спинке кресла пиджака и неожиданно негромким для его комплекции, немного сипловатым голосом произнес, шуря и так не очень большие глаза:

- Если не ошибаюсь, наш собственный корреспондент в автономной области...
- Формально – руководитель литобъединения, – почему-то решил уточнить Сашка.
- Я в курсе, – кивнул тот головой, из-за шевелюры густых черных волос выглядевшей непропорционально крупной даже на этом туловище, – мы с первым секретарем обкома общались...

Произнес и замолчал, откровенно разглядывая Сашку, давая ему возможность постичь равенство его отношений с формальным начальством Жовнера.

Сашка тоже молчал, начиная понимать, что Кантаров, похоже, поторопился усаживать его за новый рабочий стол. Интуиция его не подвела. Заворотный стал рассказывать, как важно для крайкома, обкома комсомола, чтобы о делах молодежи в многонациональной автономной области знали повсюду в крае, что появление собственного корреспондента, его публикации замечают, на них реагируют.

– Я знаю, что вы нужны и здесь, в редакции. Мы с Сергеем Никифоровичем говорили о вас, да и Виктор Иванович просил перевести вас в штат. Со временем мы так и сделаем, но пока, Александр Иванович, придется пожить в Черкесске. Мы с Евгением Евгеньевичем решили, что будем поощрять вас повышенным гонораром.

Он многозначительно замолчал, по-видимому, ожидая слов благодарности, но Сашка «спасибо» говорить не стал, переваривал Никифоровича, Ивановича, Евгеньевича, стараясь правильно подставить их к знакомым именам, как и осознать собственное отчество, так четко произнесенное редактором.

– Там у нас внештатный корреспондент есть, – он заглянул в бумажку, лежащую на краю стола, – Ставинский Алексей Леонардович...

Сашка кивнул.

– Да, есть.

– Он сможет вас заменить?

Вопрос был неожиданным, и Жовнер не сразу нашелся, что ответить. Наконец не совсем уверенно произнес:

– Заменить не сможет, но оперативно освещать мероприятия вполне. Я могу ему помочь...

– Вот это я и хотел услышать, – с нескрываемым облегчением сказал редактор. – Значит, так и договоримся, вы постепенно вводите Алексея Леонардовича в курс дела, подсказываете, правите его материалы и готовитесь к переезду.

– И как долго... вводить?

– Пока не могу определенно сказать, – произнес Заворотный. И, словно извиняясь, пояснил: – Мне нужно разобраться... К тому же вам необходимо жилье. На первое время мы сможем вас одного, без семьи, устроить в общежитие. Но я не знаю, когда редакция получит квартиры, к тому же есть очередь... Было бы замечательно, если бы вы обменяли...

– Мы живем в квартире моих родителей, – сказал Жовнер. – Они сейчас дорабатывают на Севере, скоро приедут, так что менять нам нечего.

– А вы стоите на очереди?

– Вроде да, – неуверенно отозвался он, вспомнив, что прежний редактор Белоглазов обещал внести его в список нуждающихся в квартире.

– Я имею в виду в Черкесске, в обкоме? – уточнил Заворотный.

– В обкоме?.. Нет.

– Нужно было встать, там можно получить довольно быстро, будет что менять... Поговорите с первым секретарем обкома, проясните ситуацию. Если есть возможность скоро получить, правильнее будет подождать... Нужно будет, мы со своей стороны походатайствуем.

– Я поинтересуюсь, – неуверенно пообещал Жовнер.

– Ну, что же...

Редактор поднялся из-за стола, не особенно над ним возвысившись, но подавив внушительными размерами туловища, протянул маленькую, широкую, почти круглую ладонь:

– Пишите чаще, помогайте всем отделам и готовьте Ставинского, нам очень нужен в области собкор...

Заходить к Кантарову Сашка не стал, какой смысл, пусть между собой разберутся. И по отделам не пошел. Даже не поинтересовался, есть ли замечания к материалам, вопросы, предложения, чего никогда прежде делать не забывал. Вспомнил об этом, только завернув на проспект, ведущий к автовокзалу. Но возвращаться не стал.

Уезжал с необъяснимым осадком. Вроде и не настраивался на переезд от любимой жены, дочери (одному жить совсем не хотелось), но и лестно было – значит, газете необходим. Да и город побольше, культурная жизнь интенсивнее... Все же после Красноярска комфортнее он чувствовал себя в больших городах. К тому же после предновогоднего разговора с Красавиным и Кантаровым он прочитывал газету от первого до последнего абзаца. У него появились предложения и по структуре, и по кадровой расстановке (та же Селиверстова явно не тянула свой отдел, как не способны были писать заметные материалы Пасеков и Гаузов), и по тематике. Интересно, на какой отдел прочил его Кантаров?.. Впрочем, неважно, главное, втроем (если редактор не будет мешать) они действительно могут сделать если и не самую лучшую, как замахнулся Кантаров, то уж одну из лучших молодежных газет в стране точно...

Но не зря говорят: первую половину дороги думаешь о том, что позади, вторую – что впереди.

А впереди был небольшой зеленый многоязычный Черкесск, где его ждали любимая и любящая жена и вполне освоившаяся в своем многоцветном и многомерном детском мире дочь (непреходящая радость), а также привычный рабочий стол в обкоме комсомола напротив стола Азамата в кабинете возле окна, в которое в ветреную погоду стучались ветки раскидистого каштана. Заведующий отделом Адам, который, не вмешиваясь в график работы Жовнера, все

же при случае не забывал напоминать, что тот является сотрудником обкома комсомола, конкретно – его отдела и, если не отчитывается перед ним, то хотя бы должен ставить в известность, куда уходит и чем занимается.

А еще были новые поездки по области, запланированные и неожиданные встречи с героями и антигероями его публикаций, немногочисленные (семеро пишущих на русском языке, включая Ставинского), но всегда бурные и долгие заседания литературного объединения. И более всего запоминающиеся (от узнавания неведомого прежде) откровенные разговоры допоздна в интернациональных компаниях за вином или даже чем покрепче. И тогда перед Сашкой раскрывался весь спектр непростых отношений наций и народностей, предпочитавших просторам иных территорий – той же необъятной Сибири с ее грандиозными стройками – тесноту горных ущелий, постижение национальных традиций и неписаных, но неукоснительно исполняемых законов, исторических преданий и правд многочисленных кланов, обсуждение застарелых обид на притеснения и несамостоятельность...

Независимости (без четкого ответа на вопрос «Для чего она нужна?») хотели и неспешные абазины, и хитровато-мудрые ногайцы, и спокойные черкесы. Но более всего жаждали ее самые многочисленные, после русских, карачаевцы. Для них, искони занятых животноводством, постоянным местом обитания были горные ущелья в верховьях Кубани, Теберды, Большого и Малого Зеленчуков, высокогорные плато, куда весной на летние выпасы вереницами тянулись из долин отары овец и стада коров, поэтому они отторгали цивилизацию и иную культуру. Здесь говорили на родном языке, хорошо помнили своих героев всех мелких сражений и непостижимых по масштабам, а оттого и не казавшихся страшными мировых войн. И с особой обидой и горечью вспоминали оскорбительную для народа департацию... Здесь исполняли наказ старейшин, навечно оставшихся в казахских степях: рожать в родных ущельях как можно больше детей. Здесь чтили принадлежность к кланам и многовековым родам, хотя революция и годы советской власти все перевернули с ног на голову: хозяин превратился в нищего, а раб стал начальником...

Это были незнакомая и не всегда понятная Жовнеру культура, чуждый уклад жизни, в которых ему помогали разобраться тот же не по возрасту серьезный и строгий, словно несущий в одиночестве груз исторических перипетий своего народа член литобъединения Юсуф Созаруков и немногословный, менее резкий в оценках, но более сведущий в этих вопросах писатель Мусса Батчаев, когда приезжал из своего аула в город. Мусса относился ко всему происшедшему, происходящему и тому, чему еще предстояло произойти, как к неоспоримой данности, считая, что главное для живущего в этом мире – стараться не переделывать, а познавать его...

В Черкесске преобладали если не обрусевшие, то оцивилизованные горцы, избравшие языком общения русский, получившие высшее образование, как правило, в хороших, чаще всего столичных вузах, куда поступали по квотам, вследствие чего занимавшие квотируемые же места в партийных и советских органах, управленческие должности на заводах, делавшие либо престижную научную карьеру в научно-исследовательском институте (который был создан для того, чтобы найти истоки каждого из малых народов и показать их изначальное коренное родство, отчего-то утраченное к дням нынешним), либо публичную актерскую – в областном драматическом театре с национальными труппами, уникальном учреждении для столь маленького городка. Они уже были менее забывчивы, более толерантны, жили и мыслили, как подавляющее большинство советских людей, имели друзей и знакомых среди прочих национальностей, прежде всего среди русских, из завистливого любопытства стремились восстановить связи с рассеянными по всему миру (включая территорию «заморской акулы капитализма» Соединенных Штатов Америки) сородичами, но по окончании земного пути неизбежно возвращались на место своего появления на свет – в родовой аул.

Таков был непреложный закон горцев.

Жовнеру, выросшему в центральной части России, сформировавшемуся, как он сам считал, на сибирских просторах, где для профессионального роста, формирования отношения к тебе окружающих имели значение исключительно умение и характер, а не национальность, было трудно понять и иную религию, влияние которой только здесь он впервые ощутил. Впервые попав на мусульманские похороны скоропостижно скончавшегося еще молодого актера местного театра, с которым был знаком, он не знал, как себя вести во время прощания. По обычаям умершего нельзя было снимать головной убор. Крещеному же положено провожать покойника с непокрытой головой. В конце концов, он поступил как православный...

В повседневной жизни Сашка не мог привыкнуть к тому, что у каждого знакомого—нацмена (кстати, слово «нацмен» тоже резало ему слух), помимо имени, данного при рождении, порой, правда, труднопроизносимого, было и второе, русское. И предпочитал называть людей настоящими, порой труднопроизносимыми и непривычными именами.

Он не мог постигнуть многого из того, что теперь его окружало, но старался понять и, если даже не понимал, уважать иные обычаи, традиции, нравы...

Впрочем, национальная интеллигенция, говорящая по-русски, практически ничем не отличалась от уже знакомой ему среды. Здесь, так же, как и в Сибири, были в моде private разговоры на кухнях о том, что не все благополучно «в датском королевстве», а в комнате в это время исходил патетикой успехов самого прогрессивного в мире общества «равенства, братства и свободы» телевизионный экран, блаженно улыбочивый и уже плохо понимаемый населением звездоносный генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Ильич

Брежнев получал очередную награду...

И все же юг расслаблял, поощряя духовную лень и пассивную созерцательность. Вопрос о справедливости государственного устройства с очевидным прессом непогрешимых партийных органов над всеми остальными гражданскими институтами (несмотря на то, что этот пресс здесь ощущался гораздо мощнее, чем в Сибири) был менее актуален, чем проблемы сосуществования людей разных наций, народностей, вероисповеданий, взглядов на этой плодородной, но, очевидно, тесной для всех желающих жить богато и беззаботно земле. По этой причине умственный потенциал активной части населения — практически весь, без остатка — уходил на карьерное продвижение либо поиск более значных и перспективных мест работы и дополнительных источников дохода (на одну зарплату не проживешь), приобретение правдами и неправдами (лучше всего это получалось по родству, должности или знакомству, объединяемым понятием «блат») дефицитных благ и, нереализованный в полной мере по предназначению (быть со-творцом мира), создавал в многоликом обществе атмосферу повышенной агрессивности и жестокости в отношениях с себе подобными... Словно иллюстрируя естественную — по эволюционной теории Дарвина — примитивную борьбу биологических видов за место под солнцем...

Жовнер не был одержимым ни одним из увлечений, считавшихся в среде комсомольских функционеров здоровыми и целесообразными, и оттого воспринимался сослуживцами и большинством знакомых несколько ущербным. От полного отнесения в разряд неудачников в глазах прагматичных окружающих его спасала только причастность к журналистской профессии, которую здесь уважали и даже побаивались. Никто не догадывался, что он и сам мучился, только не от своей непрактичности и неумения использовать служебное положение и связи, а от невозможности высказать все, что думает по поводу государства, в котором ему выпало жить. А еще его раздражало славословие партии и членов центрального комитета, дважды в год возвышающихся на одинаковых черно-серых портретах над колоннами демонстрантов, идущих по площадям больших и малых городов в честь дня трудящихся первого мая и седьмого ноября — в честь празднования очередной годовщины Октябрьской революции.

Раздражали хвалебные лживые отклики на брошюры многократного героя Леонида Ильича (который, если судить по наградам, заслугами перед страной превзошел всех своих

предшественников), рапорты о трудовых победах и достижениях, в то время как на глазах пустели магазинные прилавки и дефицит становился тотальным.

Ему хотелось поделиться с кем-то своими мыслями и сомнениями.

Он не понимал, почему растет пропасть между тем, что его окружает в повседневной жизни, и тем, что звучит со всевозможных трибун...

Попробовал как-то со Ставинским поговорить на эту тему, но тот, не особенно вникая, согласно покивал и перевел разговор в плоскость реальную, посоветовав, пока Сашка работает в обкоме комсомола, вступить в партию, без членства в которой карьеру не сделаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу...

Сам он затеял организовать в заводском ДК образцово-показательную дискотеку, которая приходила на смену танцам. Сашку, как человека семейного, дискотеки не интересовали, но идея Ставинского предварять танцевальную часть идейным театрализованным представлением показалась интересной, и Сашка с удовольствием подключился к написанию сценария, а потом и к репетициям, заражаясь энтузиазмом молодых ребят, которых тот сумел собрать. Сам Леша забросил все свои рутинные секретарские дела, игнорируя и поручения, и отчетность, явно давая повод если не для увольнения, то для очередного выговора.

Даже перестал писать в газету.

Свое беспокойство по этому поводу Жовнеру сначала высказал Адам, посоветовав предупредить своевольного Ставинского о неполном служебном соответствии, а затем выразил и редактор, напомнив, что от того, как быстро Алексей будет готов его заменить, зависит и Сашкин переезд в краевую столицу.

Но наступившее лето с ясными знойными днями и томными южными ночами не располагало ни к работе в кабинете, ни к разлуке с женой, поэтому он решил не форсировать события, понимая, что, переехав в Ставрополь, неизбежно будет втянут в ритм отнюдь не творческого конвейера. А оттяжку обосновывал нужностью здесь, предлагая темы одна интереснее другой, и с удовольствием мотался по командировкам: то к чабанам на дальние горные выпасы под снежные хребты, то к ученым Зеленчукской обсерватории с самым большим телескопом в мире, по воле случая (или предопределенной закономерности) построенной рядом с первыми православными храмами в Архызской долине, то к мирным артиллеристам – укротителям градовых туч, то к строителям самого большого в Европе тепличного комбината, то на археологические раскопки самого древнего на Северном Кавказе Хумаринского городища...

Это было интереснее, чем готовить дежурные отчеты о комсомольских мероприятиях, да и сами материалы получались читабельными, но неожиданно для Сашки они вдруг перестали появляться в газете. Наконец, он не выдержал, позвонил Сергею Кантарову, и тот недовольным тоном сообщил, что все материалы лежат на его столе, но есть первоочередные, более актуальные темы, а не «грезы восторженных барышень».

Но тут же, правда, признал, что написаны они интересно и что он их начнет ставить со следующей недели по мере возможности.

– А вообще пора тебе впрягаться в работу, а не выезжать на экскурсиях. Это темы для практикантов, – грубовато закончил он.

Осадок после разговора остался неприятный, но Сашка решил, что Кантаров, вероятно, был не в духе. А может, даже позавидовал, потому что он сам, став ответственным секретарем, писать перестал.

...Спустя неделю материалы вышли чередой, из номера в номер.

В обкоме такое внимание к области всем понравилось. После завершающей публикации первый секретарь обкома комсомола даже пригласил его на разговор. Встретил крепким рукопожатием и словами благодарности, не преминув заметить, что и в обкоме партии все публикации внимательно прочли и одобрили. Потом высказал сожаление, что уже дал согласие на перевод Жовнера в редакцию.

– Но я сегодня с утра созвонился с краем, – он кивнул на белый телефон, стоящий на столе особняком. – Договорился, что на важные события отправлять тебя будут, – окинул Сашку отвлеченным взглядом человека, обремененного бесчисленными заботами. – С таким вот условием отпускаю... – и вдруг спросил: – Ставинский так сможет писать?

Сашка сразу не нашелся, что ответить. Потом невнятно буркнул:

– Научится... Со временем... – И под ничего не выражающим взглядом торопливо добавил: – Я помогать буду...

Но, похоже, ответ был вовсе не обязателен...

Первый секретарь был почти одного с ним возраста, но выглядел и солиднее, и старше. Происходил он из карачаевского рода незнатного и небогатого (пролетарская основа), особым интеллектом, эрудированностью да и манерами не отличался, но зато был исполнителен и умел внимательно слушать старших товарищей, что отчасти и помогло ему сделать карьеру. Как правило, он редко бывал на месте, постоянно пропадал в кабинетах обкома партии, выполнял какие-то партийные поручения или же летал в командировки в Москву.

Основной его функцией было взаимодействие с вышестоящими товарищами, торжественное открытие комсомольских мероприятий, текущими же делами руководил более дотошный и хорошо знающий, чем кто в аппарате занят, второй секретарь. Но, в общем, первый был неплохим мужиком, может, поэтому Сашка и поторопился взять на себя обязательство помочь Ставинскому. А может, потому, что переход в штат редакции все еще казался ему не очень близким...

Но вопрос перевода был решен раньше, чем он ожидал, в солнечный день в середине августа, когда он приехал в краевой центр на совещание молодых писателей.

С утра он отсидел на его заседании, с затаенной радостью выслушал мнение руководителя семинара, местного прозаика и драматурга, рекомендовавшего его повесть к публикации в краевом альманахе (с грустью вспомнил о рукописи, затерявшейся на полках красноярского издательства), потолкался «с молодыми и талантливыми», так же, как и они, восторженно внимая благожелательно доступным литературным мэтрам, потом зашел в редакцию.

И в коридоре столкнулся с праздно, как ему показалось, прогуливающимся новым редактором Заворотным. (Потом ему объяснили, что это был традиционный профилактический обход редактором кабинетов перед последним рабочим часом.)

– Как кстати... На ловца и зверь... – растянул тот в полуулыбке полные губы. – Пойдем ко мне, поговорим, – и неторопливо, вперевалку направился к кабинету.

Увидев их, Олечка тут же вышла из-за своего стола.

Вопросительно заглянула в глаза редактору, всем видом выражая полную преданность и готовность исполнить любое приказание, удивляя Жовнера происшедшей с ней метаморфозой. Произнесла с приторно-услужливой интонацией:

– Вам чего-нибудь нужно, Анатолий Игнатьевич?

– Я позову. Не отлучайся никуда, – буркнул тот и прошел в прохладный после уличной жары кабинет.

– Удачно, что появился, звонить не придется... – Заворотный выдержал паузу, окидывая Жовнера изучающим взглядом небольших, но острых глаз. – Решил вопрос по квартире?

– Нет, не решил.

– Почему?

– А он не решается, – сказал Сашка, удивляясь, что редактор об этом спрашивает. Он же обещал посодействовать, значит, должен быть в курсе. – В обкоме меня своим не считают...

Тот насупился, пожевал губами, словно пробуя на вкус то, что собирался сказать.

– Не хотят давать... Тогда будешь у нас ждать. В течение года обещали всех осчастливить. И нечего прохлаждаться, отрывайся от жены. Со следующей недели приступай к обязан-

ностям заведующего отделом писем, а то начальство уже интересуется, почему вакансию не закрываю...

– Приезжать? – зачем-то уточнил Жовнер.

– Само собой.

– Увольняться?

– Переводом. Все согласовано.

– Тогда через неделю, в понедельник, – уточнил Сашка. – Не начинать же среди недели...

– Но ни днем позже...

...Все действительно было согласовано, перевод оформили без волокиты. Единственной неожиданностью стала просьба первого секретаря обкома комсомола, чтобы он хотя бы до конца года, уже на общественных началах и в свободное от основной работы время, возглавлял литературное объединение.

– Это просьба наших писателей и отдела, – пояснил тот. – Ставинского мы на ставку оформим, крайком его рекомендует, писать в газету он будет, а вот опыта руководства молодыми писателями у него нет... К тому же он литературных произведений не пишет, а тебя обсуждали на семинаре, одобрили? – вопросительно посмотрел.

– Повесть рекомендовали в альманахах.

– Тем более... В конце года мы поощрим...

– Я и без поощрений. Но только до конца года, – сказал Жовнер...

...Елена к новым переменам отнеслась с пониманием. Ей Ставрополь понравился, пару раз Сашка брал ее с собой походить по магазинам. Но разлука не нравилась, и она настраивала Сашку, чтобы тот подыскал квартиру для всех. Он пообещал, хотя выразил надежду получить в течение года от редакции собственную.

Ночь перед отъездом, уложив дочь в другой комнате, они провели за любовью и разговорами, заснув уже под утро, и почти сразу же были подняты будильником, поэтому досыпал Сашка в автобусе, а ровно в девять он входил в приемную редактора.

Заворотный задерживался.

Олечка, носившая теперь блузки с менее откровенным вырезом (учла замечание шефа), сообщила, что тот в крайкоме, и Сашка зашел к ответственному секретарю.

Теперь Кантаров сидел за массивным столом, занимавшим почти половину кабинета, хозяйски развалившись в новом большом кожаном кресле. На столе в беспорядке высились стопки машинописных материалов, лежали газетные полосы предыдущего номера, исчерканные телетайпные ленты, а сам Кантаров являл собой олицетворенную озабоченность и не скрываемую начальственность.

– Отдел принимаешь запущенный, – показал он свою объективную осведомленность. – Придется пахнуть по-настоящему. Но сразу предупреждаю, чтобы обид не было, снисхождения от меня не жди.

Жовнер удивленно взглянул на него.

Большое тело Кантарова подалось в его сторону, нависло над столом.

– А то тут некоторые посчитали, что могут эксплуатировать личные отношения. Кое-кто на связи понадеялся... А для меня все равны и все должны работать, а не просиживать штаны и трусики... Я делаю газету – и сделаю ее. И всех, кто будет мне мешать, раздавлю, – откинувшись, с иронией, за которой слышалась нешуточная угроза, добавил: – Сам понимаешь, комплекция позволяет...

– А мне зачем ты это говоришь? – спросил Жовнер, не зная, расценивать это серьезно или как неуклюжую шутку.

– Не знаю, что тебе Заворот наговорит, только мне твое перо сейчас, как сороке пропеллер, – продолжал Кантаров, подтверждая серьезность сказанного. – Я буду требовать, чтобы отдел работал, строки сдавал в полном объеме и по сетевому графику.

– Можно было об этом иначе сказать, – Жовнер поднялся и, выходя, не сдержался, укол: – Не смею отвлекать от важных дел...

Кантаров промолчал.

В коридоре столкнулся с улыбающимся, явно чем-то довольным Красавиным. Тот искренне порадовался его переезду, сказал, что редактор еще в крайкоме, но вот-вот должен быть, а пока Сашка может подождать у него в кабинете, благо всех своих шерпов он разогнал по командировкам.

В большом кабинете главного идеологического отдела стояло три стола. Самый большой, заведующего, возле окна, так, чтобы обозревать остальные. На нем был идеальный порядок: на углу слева – стопка чистых листов, в центре – письменный прибор с набором ручек и карандашей и последний субботний номер газеты, справа – бордовый том из собрания сочинений Ульянова – Ленина и еще пара книг на современную комсомольскую тематику.

– Станный разговор у нас с Сергеем сейчас состоялся, – не выдержал Жовнер, прикрывая дверь.

– Ультимативный? – догадливо усмехнулся Виктор, вешая пиджак на спинку стула. – Кантаров у нас теперь большой начальник... На ответственном посту... Шутить ему теперь некогда, да и непозволительно. Шишка на ровном месте...

– Мне казалось, вы друзьями были...

– Скорее, приятелями. На каком-то этапе – единомышленниками. Как Ленин с Троцким... Начальственное кресло, Саша, имеет соблазн непогрешимого всезнания... Увы, Сергей против этого соблазна не устоял...

– Я не заметил, чтобы газета особо изменилась... Слабых материалов поубавилось, не спорю, но заметных не прибавилось...

– Программная установка нашего ответственного секретаря, кстати, поддержанная редактором и утвержденная редколлегией, – поднять уровень публикаций до среднего, подтягивая слабых и сглаживая сильных, – словно процитировал Красавин. – Так что учти, выделяться тебе не дадут. Стратегическая задача – добиться устойчивой работы редакции, чтобы в запасе материалов было на два номера...

– Я насчет уровня что-то не понял...

– Скоро поймешь, – иронично улыбнулся Красавин.

– А ты с Кантаровым...

– Не общаемся, – не дал закончить тот. – Разошлись по тактическим соображениям... Но не хочу навязывать свое мнение, сам разберешься... Только учти, редактор на его стороне. Пока вытягивай отдел, а пиши так, как умеешь...

Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Галина Селиверстова. Нарочито удивилась, выразив свою радость по поводу появления Жовнера полуулыбкой:

– С приездом, Саша... Мы тебя ждали... Да, тебя Заворот разыскивает.

И, не закрыв дверь, зацокала каблуками по коридору.

Жовнер взглянул на саркастически улыбающегося Красавина.

– Разведка, – негромко пояснил тот. – Будь готов к профилактическому разговору с ответственным секретарем по поводу контактов с коллегами во время рабочего дня...

– Да ну вас, – отмахнулся Сашка и пошел к редактору...

Заворотный в приемной давал распоряжение Олечке что-то оперативно напечатать и, не заходя к себе, повел Жовнера к Кантарову.

– Мы уже определились, – предупредил его представление ответственный секретарь.

– Вот и хорошо. Я только хотел уточнить порядок сдачи материалов. Неделю мы даем Александру Ивановичу на вхождение, а потом строго по сетевому графику, без снисхождений.

– Я так и сказал.

– Понятно, – подтвердил Жовнер, умолчав, что о конкретных сроках сдачи первый раз слышит.

Потом пошли в отдел писем, где их встретила Березина, одетая в яркий, цветастый и короткий сарафанчик, соблазнительно оголявший шоколадного цвета плечи и почти не скрывавший аппетитного цвета ноги. Фигура у нее действительно была изумительная, Сашка даже на некоторое время выпал из разговора, опять вспомнил Лариску Шепетову – только та могла бы посоперничать с Мариной. Но исключительно фигурой, на лицо Березина была бесспорно симпатичнее.

Она постаралась изобразить радость от появления долгожданного заведующего, но тут же пожаловалась редактору, что возня с письмами ей не нравится.

– Давайте я вернусь к Селиверстовой, – с настойчиво-просительной интонацией произнесла она. – Галка же часто болеет. А оперативные материалы по теме отдела делать надо... Александр здесь с письмами один справится.

– Подумаем, – благодушно пообещал Заворотный. – Ты расскажи ему все, покажи.

– Ну, он уже большой мальчик, сам разберется, – выстрелила та взглядом неопределенного цвета глаз под черными длинными ресницами.

– Ладно, соблазней не в рабочее время, – строгось, произнес редактор. – Мужу скажу.

– Муж не стена...

– Марина! – перебил ее Заворотный, повысив голос. – Поможешь, а потом вернешься в свой отдел...

...Неделя у Жовнера ушла на то, чтобы вникнуть в дела и разобраться с почтой, до которой у Березиной, пару недель назад, после увольнения Пасекова, брошенной сюда на прорыв, руки не дошли. На второй день Сашка понял почему. Рабочий день ее начинался после неспешного чаепития в кабинете Селиверстовой, который в редакции был зоной, закрытой от каких-либо репрессий. Затем она долго красовалась перед зеркалом, висящим на стене, без стеснения делясь с Сашкой новостями личного характера: о капризничавшем с утра сыне, задержавшемся в командировке муже, о душной ночи, которую она провела, раскинувшись в одиночестве на двуспальной кровати совершенно голая, и о том, каким взглядом ее провожал сегодня совсем юный, похожий на Есенина, мальчик... Наконец со вздохом садилась за стол и начинала неторопливо перебирать письма, сортируя их по темам. Вдруг начинала вслух читать понравившееся или рассмешившее, а последнее еще бежала показать Селиверстовой или Кантарову.

После обеда, с которого она, как правило, возвращалась на полчаса, а то и час позже (проблемы с городским транспортом), начинала писать обзор, но трудовой азарт быстро угасал, и она бралась за то, что было проще, начинала писать запросы в официальные органы, бросая на Сашку взгляды, наполненные невысказанной тайной и явным желанием отвлечь его от скучного занятия – подготовки актуальных писем к публикации.

Но все-таки к пятнице они завершили разбирать почтовый завал («графоманская засада» по Кантарову), Марина вернулась в отдел Селиверстовой, на прощанье выразив сожаление, что Жовнеру достался такой скучный отдел, а к нему перевели Смолина, который, похоже, растерял свою строптивость и был пугающе послушен и исполнителен. Его Сашка и посадил разбирать письма, рассылать по инстанциям жалобы и отвечать на откровения по поводу неразделенной любви, внешне радуясь и тайно огорчаясь тому, что с понедельника уже не будет видеть Марину, слушать ее искушающие откровения...

Хотя и был занят, безвылазно просиживая все дни и вечера в кабинете, тем не менее он ощутил напряжение в редакции. При Белоглазове двери в кабинеты были, как правило, распахнуты, в коридоре громкоголосо обменивались последними житейскими новостями сотрудники, улыбающаяся Олечка порхала туда-сюда, обнадеживая своим бюстом неженатых и стимулирую творческое воображение семейных. Теперь же в редакции было на удивление тихо, все двери плотно закрыты, Олечка все время сидела на своем месте, в кофточке с высоким выре-

зом, в котором соблазнительную выпирающую матовость девичьей непорочности уже невозможно было разглядеть.

По коридору чаще других громко шествовали или Кантаров в сторону кабинета редактора, или же сам редактор, отправляющийся на очередное важное совещание в вышестоящие органы. Остальные сотрудники скользили безмолвными теньями, торопясь исчезнуть либо в своем кабинете, либо за входной дверью. Эта обстановка чем-то напоминала уже знакомую обкомовскую и никак не вязалась с атмосферой всех предыдущих редакций, в которых он работал...

В пятницу он собирался уехать пораньше домой, уже проинструктировал Смолина, что тому делать до конца рабочего дня, но тут прибежала Олечка: Заворотный его вызывал.

Редактор просматривал полосы завтрашнего номера, был настроен благодушно, поинтересовался, вник ли Сашка в проблемы отдела. Выслушав отчет о проделанном, благосклонно покивал и напомнил, что главное – вовремя по сетевому графику сдавать материалы в секретариат.

– Я с Сергеем Никифоровичем солидарен, – веско произнес он. – Нам надо иметь запас хотя бы на два номера газеты. Сетевое планирование – эффективная форма, надо научиться собственные планы неукоснительно выполнять. У нас тут некоторые умники не согласны, что количество со временем перейдет в качество... Этим они прикрывают желание разгильдяичить.

Жовнер хотел было возразить, что подобный закон не всегда работает, но по выражению лица редактора понял, что не стоит этого делать.

Пока Заворотный пространно делился своим (и ответственного секретаря) видением перехода от количества плохих материалов через многократные переделки к хорошим, что в будущем должно было вывести газету в лучшие в стране, надежды уехать пораньше становилось все меньше и меньше, и, когда Сашка вышел из кабинета, так до конца и не понявший, зачем его тот вызывал, спешить было уже некуда.

На всякий случай заглянул к Красавину. Тот оказался на месте – заканчивал материал в номер, попросил подождать его.

– Тема есть интересная, – многообещающе бросил он. – Обсудить надо.

Зашел он в конце рабочего дня. Сашка заканчивал писать план на неделю, Смолина он еще раньше отправил в крайком, забрать пришедшее туда письмо. Красавин оглядел кабинет, хмыкнул.

– У Марины меньше порядка было.

– Она особо им и не занималась...

– Это верно. Дама она спонтанная – все делает по настроению.

Но фаворитка, может себе позволить иметь слабости, – Виктор сел на стул напротив. – Ну, как первые впечатления?

– Некогда было разобраться, – уклончиво отозвался Жовнер. – Из кабинета не выходил, завалы... Вот только сегодня редактор своей стратегией поделился...

– О неизбежном переходе количества в качество... – усмехнулся Красавин. – Это не его стратегия, а Кантарова. Серега, в общем-то, неплохой мужик и не дурак, но тут у него бзик. С этой стратегией хорошо штангистов тренировать, мускулы наращивать. А извилин от этого больше не станет. Не понимает, что просто загонит ребят, интерес отобьет, особенно у молодых. Мы на эту тему с Сергеем не раз спорили, – заметил он. – Но характер у него женский: хочу и буду... Да и Галка – стерва еще та. Понятно, он ее слушает, ночная кукушка... А у нее один критерий: кому она нравится, тот и хорош, и талантлив... Пока ты ее хвалишь, она со своими вассалами тебя хвалить будет. А Серега поддерживать...

– За что хвалить? – удивился Сашка. – Пишет она не лучше остальных... План по строкам, как я понял, тоже не делает... – и догадался: – А вы с Сергеем поругались из-за нее?

– Было дело. Сказал ему, что не тянет она отдел... Кстати, я тебя предлагал на ее место... – он глянул на часы. – Ладно, договорим в понедельник, бегу я, в крайком вызывают...

– Домой торопишься, – понимающе произнес Красавин. – А мне иногда одному пожить хочется...

– Мне пока нет.

Выходя, столкнулись с Кантаровым, который или собирался зайти в кабинет, или ждал возле двери. Тот буркнул что-то неразборчивое Красавину и внятно приказал Жовнеру:

– Зайди ко мне.

И, переваливаясь большим телом, по-хозяйски неспешно пошел по коридору.

– Не гнись, – негромко посоветовал Сашке Красавин. – Без нас ему газету не поднять. Он это понимает...

И именно с того, что им всем вместе надо делать газету, Кантаров и начал, вдруг вспомнив их предновогодний разговор на аллее.

– Ты же не станешь спорить, газета изменилась, стала интереснее, макет другой – современный, – закончил он.

– Вижу, лучше, – честно признался Жовнер, не отрицая очевидных перемен.

– Думаешь, редактор помогает? Да ни хрена! Главное, не мешает.

Пашу по-черному, за половиной корреспондентов все переписываю.

Красавин вон уже отвалил к жене под бочок, ты тоже торопишься, а я засяду читать эту бредятину допоздна, – он обвел рукой разбросанные по столу материалы, исчерканные красным карандашом. – Править, переписывать... – бросил в его сторону листок, на котором машинописный текст из-за пометок практически не был виден.

– Кого это ты так ?

– А, неважно, – махнул тот рукой. – Ты тоже, между прочим, нередко халтуришь, так что учти, возвращать буду... – и сменил тему: – Вы с Красавиным обо мне говорили?

Сашка лгать не стал.

– Обменялись мнением о целесообразности перехода количества в качество...

Кантаров насупился, шумно задышал.

– Умники... Это закон, и от мнений он не меняется... Не стоит зря тратить серое вещество, – отрубил он.

– Я, между прочим, политехнический институт закончил... – не выдержал, с вызовом начал Жовнер.

– А я – иняз, – не дал закончить Кантаров. – Что из этого?.. Гениев среди нас нет, а мастерство приходит через пот и мозоли...

– Только не в журналистике.

– И в ней тоже.

– Спорить не хочу, но ты не прав.

– И не надо спорить, – снисходительно усмехнулся Кантаров, пронизывая его острым взглядом. – И Красавина слушать не надо.

– Что за кошка между вами пробежала? Вроде собирались все вместе газету делать... – сменил тему Жовнер.

– А Виктор Иванович в это кресло метил, – сказал Кантаров. – Не получилось, теперь ему все, что мы с редактором делаем, не нравится. Если ты этого еще не понял, говорю прямым текстом. И советую определиться, с кем ты.

– А обязательно надо быть с кем-то?.. Не занимайтесь вы ерундой, давай вечером в понедельник сядем втроем, поговорим...

– Миротворцем хочешь быть? – Кантаров саркастически усмехнулся. – Если ты еще не разобрался, поясняю: нам с ним не о чем говорить, зазвездился Красавин. Можешь посоветовать ему работать лучше со своими подчиненными, а то больше всего с материалами его

отдела вожусь. И меньше в крайком бегать, фискальничать... Так что, делай выбор... Только не забывай: кто не со мной, тот против... – закончил он разговор...

– Делать вам нечего, – только и нашелся, что сказать на выходе Сашка.

... Два дня он не думал о неожиданной коллизии, с которой столкнулся в редакции. Жил счастливой жизнью любимого мужа и отца, а в понедельник в автобусе, по дороге в Ставрополь, решил, что все-таки попробует примирить недавних единомышленников, свести их вечером за столом, предложив отметить начало его работы. Но этому не суждено было сбыться: не успел открыть кабинет, как прибежала энергичная Олечка, передала настоятельную просьбу редактора никуда не отлучаться и ждать, он вот-вот придет из крайкома.

Сашка заглянул к Кантарову. Хотел пригласить на вечерние посиделки, но тот с нескрываемым раздражением сунул ему несколько подготовленных к публикации и перечеркнутых красным карандашом писем.

– Научи ты своего бездельника письма готовить...

Сашка взглянул, положил обратно на стол.

– Это еще Марина готовила.

– Ты – заведующий отделом.

– Извини, но моей подписи на бланке нет, – сказал Жовнер.

Тот взглянул, буркнул:

– Ладно, разберусь...

И уткнулся в материалы, демонстрируя занятость.

Сашка вышел и чуть не столкнулся с Олечкой, которая выпалила, что уже обыскалась его по кабинетам, потому что срочно требует к себе шеф...

У Заворотного было явно благодушное настроение, из чего можно было сделать вывод, что в крайкоме его похвалили. О двух слабостях редактора Сашка уже знал. Первая заключалась в отношении к еде. Как правило, он все время что-нибудь жевал, а в кабинете с утра до конца рабочего дня стояла тарелка с пирожками. Вторая была более существенной: это зависимость его настроения от оценки вышедшего номера в вышестоящих органах.

– Хочу тебя обрадовать, – почмокал он маслянистыми губами. – Не каждому так везет. Должна была Селиверстова ехать, но у нее семейные проблемы... Я бы сам с удовольствием прокатился, да вот не отпускают... – И, наконец, раскрыл тайну: – Наши юнармейцы к пограничникам в гости едут. Ты с ними в командировку...

– Далеко?

– В Армению. Получи в бухгалтерии командировочные – и в крайком, отъезд оттуда.

– Когда?

Заворотный вскинул руку, посмотрел на часы.

– Успеваешь. В двенадцать...

– Мне еще надо запланированные на неделю материалы сдать, – вопросительно произнес Жовнер, не решив, радоваться ему или огорчаться столь неожиданной новости.

– Смолину дай команду...

– Он не сможет подготовить...

– Ладно, я скажу Кантарову, он отредактирует. Все равно целыми днями сидит в кабинете, катает кое-что в штанах...

У редактора явно было боевое настроение.

– Иди в бухгалтерию, я уже приказал все подготовить... – помолчал и добавил: – Не особо там увлекайся с погранцами, а то дорветесь до допинга – не остановишь. Все-таки с детьми едешь...

Сашка хотел сказать, что последнее время гастрит не то что пить, по-хорошему и поесть не позволял, но Заворотный уже не слушал, подтягивал к себе блюдечко с надкушенным пирожком...

...Он получил командировочные, дозвонился домой, но там никто не ответил, и, нервничая, что начинает опаздывать, перезвонил спустя двадцать минут. На этот раз Елена взяла трубку. Новость ее совсем не обрадовала (он должен был вернуться в следующий понедельник, а значит, выходные семейными не станут), она выразила беспокойство по поводу его гастрита. Посоветовала настоятельно не есть ничего острого. Он пообещал и выскочил на улицу в полном цейтноте.

Успел как раз к отходу автобуса, когда юнармейцы уже все сидели на местах, а автобус предстартово рокотал... Молча выслушал сентенции Гены Прохина по поводу недисциплинированности некоторых взрослых людей, от которых его избавил энергичный Слава Дзугов, назначенный от крайкома комсомола главным в поездке.

– Гена, не грузи... – морщась, остановил он Прохина. – Александр, запрыгивай, отбываем...

Он поднялся на ступеньку – и автобус тронулся.

Первый отрезок пути был самый короткий. Через пару часов они уже были на железнодорожном вокзале в Невинномыске, успев как раз к приходу своего поезда, где пацаны заняли полностью плацкартный вагон, а они с Дзуговым – купе в соседнем.

Когда наконец поезд тронулся, а юнармейцы были распределены по местам, лучше познакомились с Дзуговым, которого Сашка увидел впервые. Слава оказался начитанным и остроумным собеседником, с юмором относящимся к самым серьезным ситуациям, отчего с ним было легко и просто. Будущие солдаты были на удивление активными, любопытными и шумными. Проводница из вагона, где те ехали, пожилая, худая и раздражительная, периодически приглашала их навести порядок, и этот день, а затем и ночь пролетели незаметно, а в середине следующего дня они уже выходили на перрон вокзала в столице Армении.

Еще через пару часов, в течение которых они созерцали проносящиеся мимо шумные улицы каменного Еревана, безлесые окрестности, выжженные солнцем склоны с отарами овец или террасами виноградников, белопенную речку, долину с островками небольших поселений, автобус подвез их к зеленым воротам с большой красной звездой посередине, и гостеприимно-говорливый, круглолицый и черноголовый Арик, секретарь местного райкома комсомола, представил их с Дзуговым офицерам заставы. Затем с щедростью хозяина оставил в подарок двадцатилитровый баллон с «самым лучшим в мире коньяком, комсомольско-молодежная бригада постаралась» и укатил на автобусе обратно, пообещав непременно еще навещать и выполнить любые пожелания дорогих гостей и старых знакомых – пограничников.

Правда, гостями, и довольно хлопотными, они были в первую очередь для пограничников, несмотря на то, что их ждали. Начальник заставы, молодой и стройный капитан – белорус, родом из Витебска, представил остальных офицеров, которые явно были не против нарушения привычного распорядка, и первым делом приказал разместить в казарме ребят, выдать им солдатское обмундирование, чтобы не демаскировать заставу, отчего те пришли в шумный и неуправляемый восторг, иссякший лишь к полуночи, когда Сашка со Славой (тоже обряженные в форму и даже с лейтенантскими погонами на плечах, соответствующими званиям, полученным на военных кафедрах) сидели в домике, выполнявшем на заставе функции гостиницы, в компании офицеров за действительно изумительно ароматным и бодрящим коньяком и аппетитно пахнущим дымом виноградной лозы шашлыком...

То ли сугубо мужская искренне-благожелательная компания, то ли прекрасный коньяк, какого Сашке пить не приходилось (не обманул Арик!), то ли офицерская форма, которую он, не любя армию, любил за то, что вынуждала подтянуться, то ли их с начальником заставы родство (на одной реке выросли) – а скорее, все в совокупности – напомнило Сашке его короткую службу и первую встречу с пограничниками, о которой он не преминул рассказать.

Будучи сугубо штатским человеком, Сашка тем не менее ощущал себя в офицерской форме привычно и легко. На учебных сборах после института (без пяти минут инженеры, они

еще числились курсантами) капитан Лазуткин, четыре раза принимавший участие в параде на Красной площади и гордившийся этим, словно свершенным подвигом, несмотря на ежедневное потребление ста, а то и больше, «наркомовских» граммов, маршировавший так, что никто не мог в этом факте его биографии усомниться, не раз выводил Сашку перед строем сокурсников, используя в качестве наглядного пособия – как на настоящем офицере должна сидеть форма.

От тех двух жарких месяцев, проведенных в остро пахнущем хвоей сосновом бору на юге Иркутской области, у него остались неплохие воспоминания, хотя, собственно, вручение офицерских погон он почти не запомнил. Может быть, оттого, что слишком азартно они обмыли получение лейтенантских звездочек.

В памяти остались курсантские самоволки в недалекий городок за сигаретами и прочими цивилизными радостями, воровство огурцов на колхозном поле, долгие уроки Лазуткина на плацу, не вызывающие радости, изнурительные марш-броски с полной выкладкой в июльский полдень...

Уже офицером запаса он спокойно прожил год, хотя и был готов идти служить в ту же Монголию, откуда – в его бытность студентом – приезжали по-гусарски настроенные офицеры-срочники из предыдущего выпуска. Но такой потребности уже не было. Его безжалостно призвали на военные сборы, когда Сашка уже не хотел этого – спустя всего три месяца после свадьбы, и сорок дней, пронизанных тоской по молодой жене и бессмысленностью всего окружающего, он прожил в забайкальских степях на границе с Китаем.

Сборы, на которые их, офицеров запаса, забрали в течение вечера, ничего не объясняя и оставляя в неведении родных, были приурочены к большим всеармейским учениям. Неделю их продержали на пограничной заставе, где распределили по ротам и взводам (Сашка был назначен командиром второго взвода второй роты саперного батальона), рассказывая о международном положении и попутно знакомя с бытом пограничников. Быт этот был более похож на рутинную работу: солдаты днем и ночью уходили и приходили, отсыпались, получали наряды на хозработы от скучающих офицеров, что их несколько не огорчало, и даже наоборот, позволяло отдохнуть от многочасовых маршрутов в полном обмундировании и с боевым комплектом под палящим солнцем.

Появление гражданских (с их точки зрения) несколько оживило службу, разнообразив ее последними новостями из многоцветного мира, в котором жили, не скучая, их родные и любимые, разговорами воспоминаниями и мечтами по дембелю, кому близкому, а кому еще ой какому далекому, и возможностью не экономить на сигаретах.

Спустя неделю в одну из ночей призванных офицеров заставили принимать и везти в голую степь пьяных до невменяемости «партизан», разновозрастных солдат-запасников. И в этой знойной степи под громкий стрекот потревоженных цикад с больными с похмелья солдатами они разворачивали палаточный городок, в котором еще неделю изнывали от жары, прячась под пологам задранных палаток и спешно собираясь по взводам, когда меж сопками взвихривался жгут пыли, предвещающий прибытие вечно спешащего майора – комбата, чтобы хмуро выслушать традиционную накачку за сбившийся строй палаток, неряшливых солдат, собственное настроение – одним словом, за все, что бросалось в глаза, после чего неизменно следовал приказ усиленно заниматься политической подготовкой и ждать.

Жара сменилась неожиданным похолоданием и дождями, солдаты начали чихать и кашлять, молодые – бегать на неблизкую ферму за самогоном, те, кто отслужил свое пару десятков лет назад, жаловаться на ревматизм, радикулит и прочие хвори – хорошо, что им привезли шинели, которые на пару дней продлили иллюзию сухой и теплой жизни. А еще три дня, пока шел дождь и шинели вобрали столько влаги, сколько могли, солдатики прели в палатках, чтобы при возврате первых солнечных дней занять все подсохшие проплешины шинелями, выпаривая впитавшуюся в них холодную влагу...

Запомнилась эта служба еще и маленьким приключением, о котором, собственно, он и рассказал. Сашкин замполит, младший лейтенант Валера, маленький, жилистый тридцатипятилетний шахтер из недалекого поселка, уговорил его на выходной день смотаться к нему в гости. На попутках они добрались до небольшого, но неожиданно аккуратного и совсем не черного шахтерского поселка. Только устроились за хозяйским столом, как заглянул сосед, высокий (на пару голов выше Сашки), худой и нервный Серега, недавно вернувшийся из мест действительно не столь отдаленных (лагерей в этих местах было предостаточно), где отмолотил «семерик» за давнюю поножовщину на танцплощадке. Ошалевший от свободы, уже изрядно отметивший ее, Серега собирался гулять и дальше и по-соседски поделился этим желанием. Радужный Валера, тоже после пары рюмок ощутивший вкус свободы, его поддержал, отправив недовольную жену к теще.

Они засиделись до утра, отчего на рассвете все трое воспринимали окружающий мир весело и азартно и на Валерином трехколесном мотоцикле поехали на другой конец поселка, куда Сереге надо было позарез явиться к «пахану», доставить нечто пересланное с ним из мест, в которых тот провел без малого «четвертак»...

Пахан оказался маленьким, еще ниже Валеры, и сморщенным старичком, но с колким до неприятности взглядом выцветших, каких-то бесцветных глаз. Они допили за встречу бутылку водки, которая у него была, потом Серега с Валерой покатали в магазин, а хозяин стал рассказывать Сашке свою жизнь. Дойдя до точки, с которой начинался отсчет двадцати пяти лет отсидки, он, для большей наглядности, принес из сарая топор и, багровея лицом, стал размахивать им перед Сашкой, уносясь в те годы, когда Сашки еще и на свете не было, а в этом доме, в этой комнате молодой тогда хозяин-шахтер зарубил сначала подлого друга – любовника его молодой жены (на том самом месте, где сейчас Сашка, злодей и сидел), а потом и неверную жену...

Сашке казалось, что этот рассказ, сопровождаемый матом, всхлипываниями, пьяными слезами и сверканием острого лезвия топора, длился бесконечно долго, и он всяческими вопросами-уточнениями старался оттянуть кульминационную точку рассказа, не спуская глаз с блестящего лезвия, и, когда распахнулась дверь и шумно ввалились Серега с Валерой, обмяк на деревянной лавке (на которой и сидел тогда любовник), обессиленный так, словно только что перекрыл рекорд знаменитого Стаханова...

Но полностью он избавился от наваждения красных, вывернутых в злобе глаз пахана только через пару дней, когда наконец-то комбат привез долгожданный приказ и они среди вновь зазеленевших после дождей сопот начали сооружать командный пункт армии, куда должен был уже через несколько дней прибыть министр обороны со свитой высоких чинов. Автоколонны с элементами блиндажей и укрытий шли теперь непрерывной вереницей днем и ночью, и днем и ночью они рыли котлованы, составляли бетонные элементы, превращая их в подземные дома, засыпали их песком, маскировали пожухлым дерном, и у солдат уже не оставалось сил бегать на ферму – они способны были только добраться до нар и захрапеть, еще не упав на них...

Эти пять дней спрессованного времени и предельной концентрации человеческих сил в конечном итоге оказались не нужны никому, учения вдруг отменили, министр не приехал, так и недостроенный командный пункт с врытыми в склоны бетонными элементами бросили среди сопот...

Сдав обмундирование, штатские офицеры пригласили на суд чести комбата, высказав ему все, что думали о бездарном проматывании народных денег. Тот сначала пытался отстаивать честь мундира, а потом махнул рукой: признался, что ему и самому бардак этот осточертел так, что впору застрелиться, и, прощенный, остался на последнее дембельское застолье для оторванных от гражданских дел инженеров...

А еще Сашка расписал новым знакомым забайкальскую природу (никто из них в Сибири еще не служил): тайгу, сопки и степь да ничем не примечательный, кроме того, что она китайская, вид на ту же степь за пограничной полосой, признав, что здешнее турецкое заречье смотрится гораздо веселее.

А потом они с начальником заставы предались более приятным и объединяющим воспоминаниям о реке их общего, пусть и за сотню верст отсюда, детства...

К месту вспомнился и дядя Саша, брат матери, единственный военный среди родни, который закончил службу подполковником в отставке в мирном Бресте, а перед этим много лет командовал вот такой (а может быть, этой самой?) заставой на советско-турецкой границе. Капитан тут же приказал поднять все архивы, но среди его предшественников Полоцкий не значился, и он пообещал в течение суток выяснить, на какой заставе тот служил. И выяснил: это была далекая от них горная застава – некогда самый напряженный участок границы.

– Не зря твоего дядьку потом в Брест направили, нелегко ему пришлось...

– Майора ему на этой заставе дали, – вспомнил Сашка.

– Вот и говорю, в райские места дослуживать нас просто так не направляют.

Из рассказов дяди Саши о службе, которые довелось слушать, когда с родителями и дядей Семеном еще в его студенческие годы нагрянули к родне в Брест, в маленькую, но уютную квартирку рядом с крепостью, Сашка только и запомнил, что служба в здешних местах была жаркой и нервной...

Эта неделя на пограничной заставе в Армении показалась Жовнеру одновременно и тягучей, и стремительной. Так бывает, когда однообразие окружения чередуется с новизной событий. Застава лицом смотрела на берег быстрой речки, перед которой тянулись высокие проволочные стены с тщательно разрыхленной контрольной полосой между ними, караульными вышками по краям. Вдоль этих стен и ходили пограничные наряды. Сашка тоже вместе с начальником заставы сходил в ночной дозор.

От реки тянуло прохладой. Совершенно мирные звуки: блеяние овец, лай собак, удары металла о металл (может быть, над срочным заказом, несмотря на ночь, работал кузнец-турок), редкий гул машин – доносились с чужой земли. Всматриваясь в пятно от фонарика и боясь пропустить след нарушителя, Сашка шел за начальником заставы, слыша за спиной дыхание старшего наряда и испытывая странное чувство нереальности происходящего, втайне надеясь, что именно в эту ночь шпион наконец-то перейдет границу и все завертится, как в кино... Но взрыхленная полоса была чиста... А наружу просились слова из песни Высоцкого: «...А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты...». Хотя цветов-то как раз и не было...

...На следующий день он поднялся на вышку над заставой и долго в бинокль разглядывал небогатые домики за рекой, над которыми возвышалась мечеть, откуда утром и вечером доносился зычный и поразительно мелодичный голос муэдзина. В бинокль можно было разглядеть турок, занятых повседневными заботами и отличающихся от тех, кто находился на этом берегу, разве что одеждой. Порой кто-нибудь из них спускался к воде, и тогда из рации доносился искажаемый помехами голос старшего наряда на другой вышке, стоящей возле полосы. Но заставу в ружье не поднимали, и только один раз за всю неделю по сигналу спешно выехала группа перехвата, когда иноземный осел перешел речку и стал приближаться к проволочной стене. Но пока «газик» пылил по иссушенной земле, хозяину, выбежавшему к самой воде, удалось вернуть нарушителя границы обратно.

Дальше за селением над турецкой землей возвышалась вершина горы Арарат – настолько близкая, что человеку с хорошей фантазией несложно было вообразить, что и эта долина, и турецкий поселок на том берегу, и армянский на этом, начинающийся за тыльной стороной заставы и прячущийся среди садов и виноградников, и отроги более низких, чем Арарат, гор некогда были дном моря, над бескрайней поверхностью которого ткнулся в обновленную и очищенную землю ковчег Ноя...

Пацаны жили по армейскому расписанию, опекаемые сержантами ходили в дозоры, несли службу, осваивали кухонные обязанности, занимались физической подготовкой, а Сашка со Славой Дзуговым познавали жизнь офицеров в этой прокаленной долине, избавляясь от зноя и пыли ежевечерней баней, от однообразия буден долгими разговорами за стремительно уменьшающимися запасами коньяка.

Эти разговоры заканчивались далеко за полночь, что, впрочем, не мешало и командиру заставы, и остальным офицерам как положено нести службу, демонстрируя недюжинное здоровье и выносливость.

Для гостей же короткий сон, ранние подъемы и застегнутая на все пуговицы форма казались иезуитской пыткой, которую они с трудом – только по крайней необходимости – выдерживали...

Накануне отбытия приехал не утративший жизнерадостности Арик.

На этот раз он привез с собой комсорга погранотряда и десятилитровую канистру с таким же отменным коньяком, и эта ночь была бессонной, запомнилась мудрыми словами длинных кавказских тостов и долгим прощанием, отчего обратная дорога и Ереван, по которому на этот раз медленно и по специальному маршруту их провезли гостеприимные хозяева, выпали из памяти. Осталось лишь впечатление от горького сожаления экскурсовода, молодой яркой армяночки, об армянской горе Арарат, возвышающейся совсем рядом и все же за пограничной полосой, при том, что она является свидетелем многовековой истории этого древнего христианского народа... (Государство Урарту, развалины Эребуни и сегодняшний Ереван, основанный в 782 году до нашей эры, смотрящий в сторону Арарата, – как не гордиться такой историей...)

В поезде они со Славой отпаивали себя кефиром, крепким чаем и даже не пытались заигрывать с проводницами, предаваясь неторопливым разговорам, сну и ощущая некое объединяющее их родство, которое возникает от совместно пережитого.

Дзугов был похож на Сашкиного двоюродного брата (и тоже ведь Слава!) – такой же уверенный в себе, нравящийся женщинам, ненавязчиво внимательный и корректный. Он совсем не вписывался в типаж комсомольского функционера. К концу поездки Сашка наконец догадался, отчего: у Славы напрочь отсутствовал карьеристский дух, без которого комсомольский лидер был просто немыслим. А отсутствовал он по причине семейного воспитания (единственный сынок в генеральской семье, все получал само собой, без напряжения и усилий), семейной влияния и внешности. Он легко и не особо утруждаясь учился, без медали, но с вполне приличным аттестатом закончил школу, а затем с неплохим средним баллом и институт. Не слишком перебирая, дружил, отчего среди его знакомых были и уголовники, выросшие из друзей по двору, и дипломаты, называющие ему из жарких африканских стран.

Он охотно позволял в себя влюбляться всем желающим (а таких было немало), не ощущая себя обязанным ни до, ни после каких бы ни было отношений, поэтому уже пару раз был ненадолго женат, уступив натиску наиболее настойчивых поклонниц, правда, без всяких штампов в паспорте. Ушедшие женщины отзывались о нем нелюбезно, обвиняя в мужском бессилии. Но те, кто еще не утратил надежду на законный брак, были убеждены, что это низкая не более чем недостойная месть...

Сам же Славка признался, что за прожитые четверть века он так ни разу и не влюблялся по-настоящему. Если вдруг и мелькала на горизонте взволновавшая его девушка, то, как правило, крутившиеся подле поклонницы перекрывали все пути сближения.

– Я слабый человек, – признавался он. – Я все время плыву по течению. В школе мама возглавляла родительский комитет, двоек мне не ставили, даже когда уроки совсем не учил и заслуживал. В институте декан хорошо знал моего отца, а принципиальные преподаватели не попадались. В крайкоме, сам понимаешь, главное исправно функционировать, что особых

усилий и напряжения серого вещества не требует. От меня ничего не требуется, кроме как просто держаться на плаву. Держаться я научился, а вот смогу ли самостоятельно плыть?..

– Что тебя заботит? – успокаивал Сашка, который от этого признания ощущал свое старшинство еще больше. – У тебя все расписано: станешь заведующим отделом, потом каким-нибудь секретарем, наконец первым... А дальше партийная карьера...

– Я понимаю, – морщился Вячеслав, то ли с похмелья, то ли от этих слов. – Но это меня и не радует...

– А чего ты хочешь?

– Влюбиться... Так, чтобы на коленях перед ней ползать...

– Ну, Славик... – Сашка даже растерялся от такого признания. – Влюбиться, согласен, стоит... А ползать зачем?

– Чтобы не ушла...

И на этот раз Сашка не нашелся, что сказать...

Прощаясь, договорились, что будут встречаться не только по делам.

– В вашей редакции у меня теперь два друга, – сказал Славка, – Витя Красавин и ты. Надо бы как-нибудь втроем посидеть...

– Надо, – согласился Сашка и предложил не затягивать с осуществлением намеченного.

Но то, что казалось легко осуществимым под ритмичный перестук вагонных колес, вдали от каждодневной суеты, на деле все откладывалось и откладывалось.

Сначала Сашке надо было отписаться за командировку, наверстать упущенное в отделе (хотя Смолин и старался, но явно опыта ему не хватало), разделаться с накопившимися долгами по авторским материалам. В конце недели Славка позвонил и предложил посидеть втроем в кафе в выходные, но в пятницу Сашка отпросился у Заворотнего пораньше (за две недели соскучился по жене и дочке) и сразу после обеда уехал в Черкесск.

Думал, эти дни проведут втроем, наслаждаясь самым приятным обществом любящих и любимых людей, но не получилось: Леша Ставинский в субботу пригласил на премьеру дискотеки, а бывший условный начальник Адам попросил «не в службу, а в дружбу» встретиться с членами литобъединения, пожелавшими обсудить свои новые творения.

Так один выходной и пролетел: сначала на литобъединении, которое активно помогал вести Ставинский, хвалили и ругали друг друга за удачно и неудачно найденные сюжеты и стихотворные строки, а потом все вместе пошли на дискотеку, чтобы после феерического и весьма оригинального действа, сочетающего текст (Сашке не стыдно было за свой сценарий), игру доморощенных актеров и современные музыкальные композиции, в маленькой комнатке на задворках клуба, попивая вино, обсудить премьеру, азартно поспорить о вкусах и наконец, когда уже никто никого не слышит, прокричать собственные стихи...

Из-за субботы и воскресенья прошло не так, как ожидалось. Елена молчала, демонстрируя обиду, и только к вечеру ему удалось добиться прощения, которое окончательно закрепилось уже глубокой ночью после страстных ласк и признаний в любви...

...В понедельник, уже в Ставрополе, он решил узнать о судьбе своей рукописи, сданной для публикации в альманахе. Нежный женский голосок на другом конце провода попросил подождать «одну минуточку», но эта минуточка затянулась на добрых пять, наконец уже другой, менее учтивый мужской голос сообщил, что в ближайшее время ему будет дан письменный ответ. Он не стал уточнять, уже догадываясь, какой именно, и попросил прислать письмо на редакцию.

Письмо пришло к концу недели, и в нем, совсем коротком, начинающемся словами «к сожалению» (сам с этой фразы обычно начинал ответ юным стихотворцам и престарелым графomanам, которые постоянно слали свои сочинения в газету) и подписанном главным редактором альманаха, сообщалось, что повесть не может быть опубликована по причине «не подходящей тематики и неверного отображения советской действительности»...

«Неверное отображение» его очень обидело. Он разыскал номера телефонов и позвонил руководителям семинара, рекомендовавшим повесть к публикации, двум известным и авторитетным в крае прозаикам. Оба высказали удивление таким ответом и пообещали поговорить с главным редактором, а если необходимо, написать положительные рецензии.

Переложив эту заботу на плечи других, он с азартом взялся за работу, завалил Кантарова подготовленными для публикации письмами, сдал свой очерк о поездке, который тут же вышел и был отмечен как лучший. Неделя пролетела незаметно.

На этот раз он замечательно провел выходные в семейном кругу.

И Елена была ласкова и нежна, и Светка не болела и не огорчала.

Следующая рабочая неделя началась с небольшой стычки с Кантаровым по поводу заметки Смолина. На этот раз Жовнер отступать не хотел, и Кантаров это понял – упираться не стал и заметку в газету поставил.

За текущими делами Сашка почти забыл о повести, но писатели оказались людьми обаятельными и до конца недели позвонили оба, правда, с одинаковым сообщением, что редактор почему-то уперся и они никоим образом повлиять на него не могут, а рекомендация совещания, увы, не является обязательной для исполнения...

Жовнер огорчился от такого необъяснимого разночтения его повести уважаемыми писателями и каким-то редактором, хотел сначала сам сходить к нему, но, перечитав ответ еще раз, понял, что это ничего не даст, и от такой безысходности вдруг начал писать роман.

Теперь день у него делился на две неравные части. Первая, маленькая, выпадала на утро, до того как редакция заполнялась сотрудниками (он приходил на час-полтора раньше), и на обеденный перерыв (перекусывал бутербродами или пирожками), когда он писал роман, и остальная, большая, занимавшая все остальное время и заполненная всякими, менее приятными событиями.

Пока отписывался и приходил в себя после командировки, редакционные интриги его не задевали. Но потом, хотя и старался этого избегать, он все же столкнулся с Кантаровым. К материалам самого Жовнера тот относился лояльно. А вот к тому, что писал его сотрудник, был беспощаден и, как считал Сашка, часто несправедлив. В конце месяца он демонстративно вернул Сашке все письма, подготовленные Смолиным, с едким замечанием, что в обязанности заведующего отделом входит не только написание собственных материалов, но и работа с корреспондентами.

Он официально, через Олечку, попросил Сашку зайти к нему, изрекал все это тоном прокурора, уверенного в своей правоте, излагающего истину если не преступнику, то уж, несомненно, его подельнику. Все это время дверь в кабинет была открыта, и на его зычный голос не преминули заглянуть любопытствующие – в первую очередь улыбающаяся Селиверстова и не сумевшая скрыть удивления Марина, чей кабинет находился рядом.

Жовнер молча выслушал обличительную тираду и, ни слова не говоря, вышел. Вернувшись к себе, стал просматривать письма.

Кантаров, не удовлетворенный такой реакцией, пошел по редакции и, наконец, вылил не растраченное раздражение в кабинете Кости Гаузова, хоть и не талантливого, но работающего хроникера, исправно освещающего все спортивные события. Тот пытался защищаться, что еще больше распалило ответственного секретаря, и он зашел к Березину, там наговорил кучу гадостей.

Его голос раздражал и отвлекал, и Сашка, демонстративно захлопнув дверь, стал просматривать подготовленные Смолиным письма, не нашел ничего, что явно бросалось бы в глаза и требовало редактирования, разве что несколько лишних слов. Подбодрил сжавшегося за своим столом сотрудника, заметив, что не понимает, почему Кантаров вернул подборку, и пошел к редактору.

Заворотнего на месте не было. Олечка интригующе молчала, не сообщая, где он может быть, и только намекнула, что, вероятнее всего, того уже до конца дня не будет. Жовнер зашел к заместителю редактора Кузьменко.

Он был самой незаметной в редакции фигурой, редко выходил из своего кабинета, а основной его обязанностью была вычитка газетных полос, и единственные, кому он регулярно устраивал разносы, были корректоры, потому что Женя Кузьменко всегда находил если не орфографические, то синтаксические ошибки. Его грамотность, эрудированность и хороший литературный вкус были теми самыми китами, на которых держался его авторитет. Первое время Сашка задумывался, почему, являясь вторым человеком в редакции по должности, Кузьменко практически остается постоянной «свежей головой» и никак не влияет на рабочий процесс. Потом понял, правда, не без подсказки Красавина, что именно это поведение отстраненного советчика в конфликтах и миролюбивая позиция по отношению и к правым, и к виноватым на заседаниях редколлегии, когда он предлагает тот или иной компромисс конфликтующим сторонам, и позволяют Кузьменко слыть человеком пусть и не очень заметным на своем месте, но необходимым в редакции. К его оценкам прислушивался в свое время Белоглазов, который, собственно, и поставил его заместителем (прежде Кузьменко заведовал отделом писем) и, насколько было известно, поддерживал со своего нового, влиятельного места. Зная это, Заворотный последнее время тоже не торопился высказывать свою точку зрения, предоставляя право первым высказаться заму...

Кабинетик у зама – маленький, заваленный книгами. Они стопками высились на двух свободных стульях, на подоконнике и даже на полу возле батареи, не говоря уж о заполненном до предела небольшом книжном шкафу. Это были его личные книги. Преобладали справочники и новинки, которые регулярно появлялись и после прочтения всеми желающими исчезали в большой серой плечевой сумке, с которой Кузьменко не расставался. Чаше всего сотрудники редакции в выходные дни натывались на него в букинистическом отделе Дома книги, где у Евгения были свои, скрытые от посторонних отношения с продавцами.

Еще одна его страсть тоже не была ни для кого тайной: в кабинете на отдельном маленьком столике рядом с окном всегда стояла шахматная доска с незавершенной партией или же с очередным этюдом из журнала «Наука и жизнь», каждый номер которого тот прочитывал от корки до корки. Партия, как правило, доигрывалась в обеденный перерыв или же после работы, а над этюдами Кузьменко позволял себе размышлять в рабочее время, и, хотя об этом все знали, замечаний по этому поводу ему никто не делал.

Постоянным его партнером в шахматной игре был Олег Березин.

Когда тот уезжал в командировки, Кузьменко охотно играл с Костей Гаузовым. Все остальные, за исключением Кантарова, с которым он периодически сражался, пока тот был заведующим отделом, оказались слишком слабыми для него соперниками, но каждого вновь появляющегося сотрудника он с откровенным азартом и неиссякаемой надеждой обязательно испытывал на шахматную состоятельность.

Сашка в свое время такую проверку выдержал и даже заслужил похвалу, хотя выиграл всего одну партию из пяти, но от последующих приглашений отказывался, ссылаясь на занятость даже в перерыв...

...Он положил перед Кузьменко подборку писем, сказал, что редактора сегодня не будет, поэтому вынужден обратиться к нему.

Коротко изложил: Кантаров заявляет, что отдел срывает плановый выход полосы, Сашка же считает, что подборка подготовлена, переписывать и переделывать ничего не нужно.

Кузьменко хотел было что-то сказать но, взглянув на Жовнера, пообещал сейчас же, не откладывая, просмотреть.

Сашка заглянул к Красавину, хотел поинтересоваться, не изменились ли у него отношения с Кантаровым, но тот проводил оперативное совещание со своими корреспондентами, и

Сашка пошел к себе, сожалея, что еще не обед и уходить ему в рабочее время без очевидной причины не следует. Он лишь отправил поникшего и не способного ничего делать Смолина в краевую библиотеку, срочно придумав ему задание.

Через полчаса зашел Кузьменко, источающий миролюбие, и сообщил, что на этот раз Кантарова он убедил, тот уже рисует полосу, но в какой-то мере требования ответственного секретаря вполне обоснованы. Письма нельзя, конечно, переписывать, но работать с ними необходимо, надо подходить к делу творчески.

– У меня в свое время была задумка делать тематические подборки, – признался он. – Это было бы интересно читателю и выявляло бы назревшие проблемы.. – оглядел кабинет и с явно сожалеющими нотками в голосе продолжил: – Я ведь почти два года в этом кабинете отсидел...

– Нравилось? – спросил Сашка, вполне удовлетворенный таким разрешением конфликта.

– В письмах хорошо видно, чем живет общество, – уклончиво отозвался тот. И неожиданно добавил: – Может партийку?

– Занят, – провел рукой у горла Жовнер. – Подборку по комсомольскому шефству над детскими домами собираю...

– Будет желание – заглядывай, сразимся...

И пошел по коридору, неся мягкую улыбку и, казалось, несмотря на свой рост, совсем не занимая места...

Вошел Красавин.

Он опять куда-то спешил.

Поинтересовался:

– Ты что-то хотел?

– Уже нет, – не стал объяснять ничего Сашка. И, глядя на очевидно не поверившего Красавина, добавил: – Давно не общались, поговорить хотел.

– Это точно, надо бы кое о чем перекалякать.. Давай на следующей неделе выберем время. Посидим, потрепемся не торопясь... Кстати, Слава Дзугов тебе привет передавал. Я только что с ним по телефону разговаривал. Тоже не против посидеть. Может втроем?

– Можно и втроем, я «за».

– Так и передам, я сейчас к нему бегу.

...Но выбрать паузу в будние дни так и не удалось ни на следующей неделе, ни через одну... То у одного командировка, то у другого, а Дзугов вообще из районов не вылезал, готовил отчетно-перевыборные конференции. Можно было, конечно, встретиться в выходные, но ими Сашка жертвовать не хотел, в пятницу на последнем автобусе, а то и на попутках торопился к семье, на два дня отключаясь от забот.

Как правило, они втроем (Светланку уже можно было брать с собой) уезжали в Теберду или в Архыз – красивые долины вдоль быстрых горных рек с хрустально прозрачным и бодрящим именно в это время яркой осени воздухом, в котором снежные вершины Кавказского хребта казались совсем близкими. В речках водилась осторожная форель, охота на которую была непростой и увлекательной (Сашкина страсть), леса радовали изобилием грибов (слабость Елены), а все вместе (пойманная рыба и найденный гриб) приводили в безудержный восторг Светлану, за которой нужен был глаз да глаз...

Дни эти пролетали стремительно, сжимаясь в неповторимые мгновения, насыщенные и сожалением об их краткости, и желанием надолго сохранить в памяти очищающую энергию радости единения с окружающим миром и любви к нему, друг к другу, ко всем знакомым и незнакомым людям...

А потом разноцветье стало желтеть, превращаться в золото, устилать улицы, шуршанием напоминая о приближающейся зиме, летняя суeta отступала в прошлое – прекрасная пора

(не зря у Пушкина была Болдинская осень!), время недолгой остановки, оценки того, что уже прожито, и определение планов на будущее...

В это время неплохо писалось.

Сашка приходил теперь на работу как можно раньше, перенеся завтрак из общежития в кабинет, и в течение полутора-двух часов жил со своими героями совершенно в ином мире, где уже всюду лежали снега и трещали нешуточные морозы, а его герои в очереди важных дел старались найти ответы на непростые и совсем не актуальные (а кое в чем запретные) для большинства вопросы...

Когда начинали греметь шаги по коридору, он нехотя возвращался в действительность, в которой первым, как правило, появлялся Кантаров, приходивший на полчаса раньше и в обязательном порядке обходивший все кабинеты, словно ожидая найти за закрытыми дверями нечто непозволительное.

– Творишь? – догадливо изрекал он.

На что Сашка сначала согласно кивал, но после того как тот на редколлегии совершенно серьезно заявил, что Жовнер занимается графоманией в ущерб своим обязанностям, стал рукопись закрывать или газетой, или письмом и делать вид, что уже весь в рабочем процессе...

С Кантаровым, несмотря на все Сашкины попытки, отношения не сложились, помирить двух умных и талантливых людей – Красавина и Кантарова, как он надеялся, не удалось, дружить же он предпочел с Красавиным, что привело к натянутым отношениям не только с Кантаровым, с Селиверстовой и ее подчиненными. И неожиданно для него с Олегом Березиным, который держался в редакции довольно независимо (он был секретарем партийной организации). Жовнер предположил, что подобное охлаждение наступило не без участия Марины...

Иногда вторым в редакции появлялся Красавин, который предпочитал писать в одиночестве и относительной тишине. Дома, хотя он и получил уже двухкомнатную квартиру, уединиться не позволяли дочь и жена, поэтому он допоздна задерживался по вечерам, а если не успевал закончить, на следующее утро дописывал. Обычно он стремительно пробегал по коридору и заходил к Сашке только после того, как заканчивал материал, удовлетворенный, хитро улыбаясь, уверенный в себе. Они обменивались необязательными репликами о том, что надо бы обсудить ситуацию в редакции, но все никак не могли выкроить время, да и настроиться на явно назревший разговор.

...В тот уже по-настоящему осенний день, пронизанный прохладным ветерком, загоняющим в тупики желтые одинокие листья, Жовнер тоже пришел раньше остальных, но новость узнал, когда уже коллеги ходили с сосредоточенными и серьезными лицами, а начальствующая тройка и Красавин спешно были вызваны в крайком партии.

Ближе к обеду телетайп начал выстукивать первые лаконичные строки сообщения о кончине Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, и новость из разряда слухов перешла в свершившееся событие.

В редакции повисла гнетущая тишина, которую все почему-то боялись нарушить неосторожным словом. Она была столь томительна, что Сашка вышел на улицу, но и там пешеходов и машин было меньше, чем обычно. Он специально прошел вверх и вниз по проспекту, вглядываясь в лица, стараясь разгадать, какие мысли по поводу случившегося те скрывают, но они все были на удивление безэмоциональными.

Красавин, вернувшийся с безразмерного заседания в крайкоме и теперь строчивший печальные отзывы трудящихся, высказался с неуместной улыбкой, что ничего страшного в происшедшем не видит, все смертно, все уходит рано или поздно, главное теперь – кто придет.

– Страна ждет... – бодро произнес он. И добавил с улыбкой тайного знания: – Мы в начале больших перемен...

– В редакции? – уточнил Жовнер.

– В стране, – ответил тот. – Закончилась эпоха маразма.

– Ты думаешь, его сменит кто-нибудь моложе?

– Надеюсь, не совсем же там наверху выжили из ума... Посмотрим, кто возглавит похоронную комиссию... Тот, вероятнее всего, и станет преемником... Сегодня-завтра все узнаем... Вперед, коллега, строчи отзывы, приближай перемены...

Опасные игры

Сталинские времена Сашка, естественно, помнить не мог. Когда вся страна рыдала и переживала дни обездоленности, он еще только делал первые шаги. Но о Сталине он слышал с той поры, как только стал вслушиваться в разговоры старших. За Сталина поднимал обязательный тост отец в День Победы. Кое-какое представление о других руководителях страны он составил из реплик матери, нет-нет да и позволявшей себе неблагоприятно пройти по всем правителям, как настоящим, так и бывшим. Дополняла картину реакция отца на памятное партийное собрание для рядовых коммунистов, где их ознакомили с секретным докладом Никиты Хрущева, из которого следовало, что все довоенные, военные и послевоенные годы в стране правил какой-то культ и от него пострадали многие безвинные люди.

– Мы войну с именем Сталина выиграли! Мы под пули за него шли!.. А нам говорят – культ... А кто цены сбавил? Кто нам, воевавшим, обещал хорошую жизнь? И была, если бы пожил еще... – хорохорился тогда отец, опрокидывая стопку за стопкой и от расстройства забывая закусить.

– Ты бы молчал, – вполголоса советовала мать и сама наливала ему водки, надеясь, что, опьянев, он быстрее утомится и ляжет спать. – На людях не вздумай спорить... Помалкивай.

– Куда уж теперь спорить? Резолюцию приняли, свержение этого культа поддержали – подчиниться обязан как член партии. Хотя и не разделяю, об этом и высказался...

– Больше не высказывайся. Вот только мне можешь, в постели, – шептала она и гладила опьяневшего отца по голове, как маленького...

Иными словами высказывался когда-то о Сталине однорукий сосед Жовнеров Касиков. Это Сашка хорошо запомнил, потому что один разговор о Сталине, когда о культе заговорили уже и беспартийные, закончился ссорой с отцом, после которой Касиков долго не появлялся у них в доме. Он назвал Сталина извергом и губителем светлой ленинской идеи...

С годами эти споры об отце народов возникали все реже, были более вялыми и заканчивались мирно. Но кое-что Сашка запомнил.

– Зазя людей он губил. А все почему, – говорил Касиков, – потому что не русский он и Россию никогда не понимал. А на всемирную пролетарскую революцию у него просто ума не хватало. Это под силу только Владимиру Ильичу было... Иностранцы России никогда добра не приносили...

Отец уже особо не возражал, хотя напоминал, что какие бы культы ни случились и каким бы иностранцем тот ни был, а с именем Сталина он шел в бой, и этого ему не забыть.

– Не везет Руси на правителей, не везет, – подводил итог Касиков. – С царями не везло, а без царей вообще худо...

...Хрущевский период остался в памяти прежде всего потому, что Сашку прозвали Хрущевым: его долго стригли наголо, а голова строением походила на большой череп генерального секретаря, и с пьяного языка другого их соседа Степана Ермакова к нему, правда ненадолго, прилипло это прозвище.

Самый яркий день тех лет – двенадцатое апреля шестьдесят первого, когда их земляк Юрий Гагарин облетел Землю. Сашка учился во вторую смену и как раз утром делал уроки, когда по радио передали сообщение о полете. Голос диктора был таким торжественным, что Сашка не смог сдержать охватившей его радости. Выбежал на улицу, которая скоро заполнилась такими же ошарашенными пацанами и взрослыми. Делясь не укладывающейся в голове новостью, но понимая, что не верить радио никак нельзя, все, возбужденно обсуждая фантастическое событие, направились к парому и тут в нетерпении подменили Кирюху-паромщика у троса (который только от них-то и узнал о чуде, отчего ахал и охал да бросал нетерпе-

ливые взгляды на свою будку, где в тряпье пряталась недопитая бутылка плодово-ягодного), переплыли реку, пошли большой толпой, как на демонстрацию, к площади перед зданием с красным флагом и сквером, где стали кучковаться, сбрасываться мелочишкой, а кто и щедро бумажными, «событие-то какое, братцы!». Потом стали разбиваться на группы и группки и тут же, на площади, на которой уже выступали с пригнанного грузовика городские начальники, в прилегающем скверике, откуда не так давно свергли и утопили в Западной Двине бетонный памятник Сталину, стали выпивать за отважного земляка, щедро одаривая крутившихся возле пацанов мелочью на ситро и конфеты...

Помимо этого дня (после которого многие из пацанов захотели стать летчиками, чтобы потом, как Гагарин, стать космонавтами) правление Хрущева запомнилось денежной реформой, к которой Сашка, сам того не зная, подготовился. С первого класса он собирал и сбрасывал копеечные монетки в большую гипсовую копилку-свинью, с нетерпением ожидая, когда та заполнится доверху, и гадая, сколько в ней тогда окажется рублей. Но копилке не суждено было заполниться. На смену обесценившимся длинным сталинским бумажкам пришли маленькие хрущевские, на вид несерьезные, но оказавшиеся в десять раз дороже, только копейка не утратила своей цены. И хотя монетки позвякивали еще далеко от верха, Сашка, поколебавшись несколько дней, разбил свинью, насчитал два рубля пятьдесят четыре копейки, что по дореформенному времени равнялось невиданному капиталу (так стоила бутылка водки), и потратил этот капитал на стреляющий ленточными пистонами черный автомат, сахарные петушки на палочке, которыми угостил друзей, и шоколадные, без оберток, запыленные, обветренные и изрядно полежавшие, но все равно вкусные конфеты, которые они съели на пару со своим школьным другом Вовкой Коротким...

Еще это время запомнилось рассказами учителей о чудесной кукурузе (ее даже в их местах попытались выращивать на полях, искони засеваемых льном, но она вырастала какая-то совсем маленькая, с маленькими початками, отдаленно похожими на изображаемые на плакатах), новыми учебниками по природоведению, потому что произошло укрупнение районов и теперь их городок не был районным центром, а все начальники оказались за пятьдесят километров, в Демидове.

Остались в памяти и длинные очереди в хлебных магазинах, в которых отпускали по четыреста граммов хлеба на руки, долгие ожидания подводы с хлебной будкой, приезжавшей из-за реки, медлительный от своей неожиданной значимости Яшка-цыган, уже не подпрыгивающий, а степенно расхаживающий, с достоинством пристукивая своей деревянной ногой, и по-свойски проходивший вслед за лотками с пахучим хлебом в подсобку магазина, откуда чуть погода шустро выскакивали знакомые ему и продавщице бабенки с большими сумками.

А еще в это время напротив школы открылся буфет, за высоким прилавком которого стояла пышная тетка в белом фартуке с кружевами и, кроме расставленных на прилавке открытых бутылок и разложенных по тарелкам конфет, больше ничего не было. Буфет никогда не пустовал, тетка неустанно разливала плодово-ягодную в граненые стаканы и лениво отругивалась от злых или плачущих жен, прибежавших в это манящее место за своими веселыми половинами...

Но в целом заботы взрослых проскользнули мимо, оттененные более значительными событиями личной жизни: волнениями и страданиями первой неразделенной любви, потерями и приобретениями друзей, наконец, переездом на Крайний Север, где произошло познание нового, совершенно другого мира...

Свержение Хрущева и появление нового генсека прошло незамеченным. Это событие дома не обсуждалось. Были первые месяцы их жизни на новом месте, первая заполярная зима для только что заложенного поселка гидростроителей, и жизнь в этих необжитых местах зависела не столько от перемен в Кремле, сколько от завоза в короткую навигацию всего необходимого для выживания до следующей весны... Если же судить по магазинам Норильска, куда Сашка попал в зимние каникулы, жить сразу же стало сытнее, прилавки наполнились продук-

тами, колбасами, невиданными им никогда прежде разномастными красивыми консервами и такими же заманчивыми на вид бутылками с венгерскими и болгарскими винами, которые они с одноклассниками пробовали и пытались оценивать.

Фамилию правителя страны, которому суждено было «рулить» целую эпоху, он запомнил гораздо позже, в Иркутске, когда недолгое продуктовое изобилие начало потихоньку исчезать с прилавков, слово «дефицит» стало обиходным, по телевизору, стремительно менявшему образ жизни миллионов семей, начали показывать партийные форумы с длинными речами бодрого и улыбочивого, с большими черными бровями Леонида Ильича Брежнева.

Как активному комсомольцу, члену комитета комсомола института, ему пришлось эти речи штудировать, партийные документы изучать, а установкам партии послушно следовать «в едином порыве» вместе с остальным народом. Но весь этот, занимающий в общественной работе, в общем-то, немалое время, процесс отчего-то напоминал ему картину пасущегося в знойный день коровьего стада, реагирующего на атаки оводов привычным помахиванием хвостами и занятого сосредоточенным пережевыванием травы.

Знакомство с Черниковым, их долгие разговоры, книги тех, кого власть изгнала из страны, внимание к его персоне незримого и всевластного КГБ, очевидная зависимость карьеры не от умения и таланта, а в первую очередь от членства в коммунистической партии, весь опыт послеинститутской жизни – все это в конце концов отделило партию (не только в понимании Сашки, беспартийного гражданина – это слово жило отдельно и от тех, кто был рядом с ним и платил членские взносы) и непосредственно генерального секретаря от простых смертных и идущей за пределами кремлевской стены жизни. Это словосочетание «за кремлевской стеной» в обиходе было сродни «за границей». «Спускаемые» оттуда указания в виде решений съездов, пленумов, политбюро, речей на всяческих совещаниях, передовиц «Правды», как эхо, трансформировались на местах в похожие решения конференций, пленумов, бюро крайкома или обкома и еще ниже, ниже... Он не был членом партии, поэтому, хотя и приходилось принимать участие в организации откликов на партийные документы, о демократическом централизме и партийной дисциплине знал только понаслышке. И тем не менее полностью свободным от вездесущей партии, работая в газетах, он не был.

Последние годы стареющий на глазах генсек вызывал сначала раздражение и стыд за государство (все же лицо страны), потом нескрываемые смешки и анекдоты и, наконец, жалость, которую испытывает молодой и здоровый человек к немощному старцу, интуитивно предчувствуя в нем и собственное будущее...

Впрочем, и все политбюро, собранное из чересчур строгих и недобрых на вид дедушек, тоже не вызывало ничего, кроме сочувствия.

Последние годы в обществе зрело ожидание перемен. И, насколько Жовнер теперь понимал, оно нарастало именно ближе к центру, к кремлевской стене, за которой и прятались грозные старички. В Сибири, отвлекаемой от проблем и «разрешающейся» то одной, то другой грандиозной стройкой (а они действительно были грандиозные, со звучными названиями: КАТЭК, Самогтор, БАМ), о необходимости перемен задумывались немногие: энтузиастам и рвачам за работой не до того (первые не щадили себя во имя идеи, вторые – денег), а у комсомольских активистов вообще не было времени думать – надо было претворять грандиозные планы партии и комсомола в жизнь.

Другое дело – здесь, на юге, пусть и не в самом центре страны, но в местах, издавна обжитых, более близких к столице, где эпоха освоения и большихстроек осталась в прошлом и уже сами партийные и комсомольские лидеры начинали понимать неизбежность перемен, отчего за исполнение установок, спускаемых сверху, брались не столь ярко, а на вышестоящие решения реагировали зачастую формально, смещая акценты от бескорыстного служения стране и народу на обустройство собственного быта и быта родных и друзей.

Дедушки из политбюро все чаще становились героями самого короткого литературного жанра – анекдотов, которые имели широкое хождение не только в народе и партии, но и в преданном комитете государственной безопасности.

И вот человек, которому суждено было многие годы быть правителем огромной державы, с чьим именем была связана целая эпоха жизни страны, выпавшая на отрочество и юность поколения Жовнера, ушел в мир иной, вызвав вместо сожаления и печали надежду на неизбежные перемены.

Но надежде не суждено было сбыться: его место занял столь же больной соратник.

Накопившееся ожидание не исчезло, оно перешло на новый уровень ироничного отношения, тайного бунта, не уходящего раздражения.

Немощный государственный механизм, замерший было в преддверии если не встряски, то хотя бы хорошей смазки и ожидавший этого, вновь продолжил медленное движение, скрипя, треща, напрягаясь, изо всех сил тщаь, но уже явно не набирая даже той, что была еще совсем недавно, скорости...

То ли от несбывшихся надежд, то ли от напряженной работы в дни всесоюзных похорон, когда просиживали за полночь, отслеживая телетайпные ленты, читая в две-три «свежих головы», готовя соответствующие моменту собственные материалы, наступила апатия.

Неделю неприкаянно бродили по редакции (за исключением Кости Гаузова – в спортивном календаре страны и края все шло без сбоев), заходя в кабинеты друг к другу, болтая ни о чем, но думая об одном и том же и все еще надеясь на чудо обновления...

Даже Кантаров никого не подгонял и сам заводил праздные разговоры, просиживая в кабинете Березина, который в эти дни в полной мере ощутил статус пусть и маленького, но все-таки партийного секретаря. Пару раз Кантаров заводил разговор и с Жовнером, не скрывая своего отношения к происшедшему и высказывая крамольные мысли о существующем строе, но Сашка, ссылаясь на то, что далек от всякой политики, от них уходил – между ними уже выросла стена, которую он не хотел преодолевать...

...Наконец-то выкроили время, чтобы посидеть вдвоем с Красавиным. Закрылись в его кабинете, когда в редакции оставались лишь Кантаров и редактор, распечатали бутылку коньяка, нарезали колбасы и сыра и не столько пили, сколько говорили о том, что произошло в стране, стараясь угадать, что будет. А когда отзвучали в коридоре шаги редактора, а затем ушел и Кантаров, дернувший пару раз дверь кабинета, заговорили громче и откровеннее, понимая, что сторожу-пенсионеру, закрывшему входную дверь и устроившемуся в кабинете редактора перед телевизором, не до них.

Иногда только Красавин, если Сашка давал волю эмоциям, облакая их в гневные, обличающие партийных деятелей слова, или когда он сам изрекал нечто подобное, воздевал палец к потолку и напоминал, что у стен, тем более редакционных, тоже есть уши...

Но коньяк понемногу делал свое дело, и скоро они уже говорили, не таясь, обо всем, что думали.

– Американский фермер сеять на поле выходит с карманным компьютером... Посадит, тут же пощелкает, урожай посчитает... До уборки уже знает, сколько соберет, сколько прибыли получит, куда потратит...

Мы отстали лет на двадцать, если не больше, – размахивал недоеденным бутербродом Красавин. – Мы катастрофически отстали от Америки, от других капиталистических стран, от всего мира, понимаешь?.. Но наши старцы там, – он махал рукой вверх и в сторону предполагаемого севера, где находились столица, Кремль, ЦК, – ничего не способны понять. Им пора на погост, они уже не могут думать о будущем... – наконец откусывал бутерброд, жевал с печально-провидческим выражением лица. – Мы придумываем ипатьевский метод, потому что у нас нет той техники, которая есть у капиталистов. А урожайи все равно намного меньше,

чем у них... И у нашего крестьянина нет заинтересованности, которая есть у американского фермера...

– Откуда ты про технику знаешь? – необязательно поинтересовался Жовнер, с трудом представляющий и заботы американского фермера, и ипатовский метод – изобретение местных руководителей, отмеченных за это орденами и медалями, о котором так много писал тот же Березин, подумав, что надо бы разобраться, за что награды раздают...

– Неважно, – отмахнулся тот. – Важно, что это понимают уже и в партии... – он подался вперед и, понизив голос, продолжил: – Капитализм, развитой социализм... Все это условности – мир движется к единому универсальному экономическому укладу...

– Теория конвергенции... – догадливо подсказал Сашка. – Я читал критику...

– Критика – ерунда... Зачем ее читать... Соединение лучшего из двух систем... Это закономерный процесс развития цивилизации...

И победят те общественные отношения, которые будут привлекательнее не в будущем, а в настоящем...

– Спорить не стану... – неуверенно согласился Жовнер. – Хотя верится в это с трудом. К тому же для нашей страны главная проблема в том, что сегодня нами правит серость... Все умные люди обсуждают свои идеи на кухнях или уехали за границу...

– Ну, это ты уж слишком упрощаешь, – неожиданно не согласился Красавин. – Среди тех, кто там... – он опять ткнул рукой вверх, – есть умные и понимающие... И в крайкоме есть... А кто уехал? Слабаки или откровенные враги...

– А Солженицын, – не согласился Сашка, совсем недавно перечитывавший «Один день Ивана Денисовича».

Красавин задумался.

– Хорошо, не спорю... Но он один.

– Зиновьев, – вспомнил Жовнер. – А еще Бродского выслали... А до этого Вадимова, Кузнецова, Некрасова...

– Не слышал, – недовольно произнес Красавин, – какие-нибудь злопыхатели...

– Бродский – поэт. За тунеядство судили, а потом выслали... Александр Зиновьев – философ... Его за то, что за границей книга вышла. «Зияющие высоты» называется. Про то, что коммунизм – утопия... Вадимов, Кузнецов и Некрасов – писатели...

– Я не согласен насчет коммунизма, – поводит вправо-влево пальцем Красавин, решив не уточнять, что те написали. – Коммунизм – это не утопия, это идеал общества. Просто, как любой идеал, его извратили... А Солженицын против культа Сталина, потому что пострадал... Но, согласись, Хрущев его в свое время хорошо поддержал?.. В «Новом мире» опубликовали... А ты знаешь, что Солженицын родом из-под Георгиевска? А в Черкесске в газете тоже диссидент работал, Максимов. Не слышал?

– О Максимове?.. Слышал. За границей живет, на «голосах» выступает... Но я не знал, что он раньше здесь жил, – искренне удивился Жовнер, не в силах до конца поверить, что известный диссидент мог когда-то жить в маленьком южном городке.

– К тому же в областной партийной газете работал... А что касается этого старца генсека, то он ненадолго, это очевидно, год-два, и будет новый генсек, а перемены все равно неизбежны. Это уже многие понимают...

...Обсудив общегосударственные проблемы и придя к единому мнению, что есть резон набраться терпения в ожидании лучших времен, перешли на редакционные дела, довольно быстро согласившись друг с другом, что требования ответственного секретаря не только не улучшают газету, но, наоборот, делают ее все более неинтересной, не молодежной, приближая к партийной. Отношение же к сотрудникам просто хамское, за что, по-хорошему, морду бы надо набить...

– В крайкоме комсомола о газете тоже сложилось мнение, что она перестает отражать жизнь молодежи, – сказал Красавин. – Но у Кантарова рука в крайкоме партии, там кое-кому нынешняя газета нравится. Да и Заворот его поддерживает.

– Мы-то ладно, выстоим, – оптимистично произнес Жовнер. – А вот пацанов он затюкал. Мой Смолин настроился увольняться...

– А я своих в обиду не даю.

– У тебя они повзрослее, сами огрызаются...

– Но тоже когда-то были как твой... – Красавин посерьезнел, окинул Сашку оценивающим взглядом. – Нам в редколлегии надо большинство иметь. Гаузов ни рыба ни мясо, но примкнет, когда увидит силу. Я с Березиным беседы веду, он пока колеблется. Еще бы штатного шахматиста перетянуть на нашу сторону...

Сашка не сразу понял, кого он имеет в виду. После мучительных размышлений (все-таки крепок коньяк) догадался.

– Кузьменко?

– Ну да, он... Тогда нас большинство будет. А их всего трое, семейка и редактор. Но Заворот, как только почует, куда ветер подул, примкнет к большинству. А если наверху порекомендуют, тем более... Так что убедим остальных, останутся Кантаров да Селиверстова...

– А рука в крайкоме партии? – выразил сомнение Жовнер.

– Я с Белоглазовым разговаривал, там тоже не всем нравится газета... А рука не всесильная...

– Не люблю я интриги, – поморщился Сашка.

– Привыкай. Это тебе не сибирские просторы, где на комсомольских стройках места всем карьеристам хватает... Без интриг в наших теплых густонаселенных краях никак нельзя. Тем более в творческом коллективе. Тут же каждый мнит себя если не гением, то бесспорным талантом. А если до власти дорвется, никого не слышит и не видит...

– Что с Сергеем произошло? – с сожалением спросил Жовнер. – Мы же хотели вместе...

– Даже маленькая власть – большое искушение, – перебил его Красавин. – Так ты готов драться?

– За правое дело? – усмехнулся Сашка. И уже серьезно добавил: – Готов.

– Поговори с Костей Гаузовым, они с Кантаровым все время скандалят, а я пока Березина обработаю...

– Ладно, – кивнул Сашка. – Хотя не умею я это делать...

– Вот так же и наверху, – повысил голос Красавин. – Все понимают, менять надо, а смелости не хватает, каждый за свое кресло держится...

– Ты не так меня понял, – обиделся Сашка. – Я за кресло не держусь. Поговорю как смогу...

– Вот и ладненько, – бодро завершил Красавин. – Коньяк допиваем – и по домам. – И, выпив, напомнил: – Поговори, не тяни...

...Но поговорить с вечно озабоченным и переделывающим возвращаемые из секретариата материалы Гаузовым все не получалось.

Опять закрутили дела. К тому же Кантаров теперь решил создать запас уже на неделю, чтобы лучше видеть каждый номер. Смолин, невзирая на уговоры, заявил, что неврастеником быть не хочет, и уволился. Сашка опять остался один.

Через пару дней ему в помощь дали Березину.

Появление в кабинете Марины явно не способствовало работоспособности. Теперь день начинался с ее довольно длительного прихорашивания перед зеркалом, висящим на стене возле двери, во время которого Сашке предоставлялась возможность детально изучить все изгибы ее фигуры. Затем она шла «на минуточку» к Селиверстовой пить кофе. Вернувшись, со вздохом усаживалась за стол напротив, пододвигая к себе письма, уже просмотренные Жов-

нером и требующие ответа или пересылки в соответствующие инстанции, и, всем своим видом выражая нежелание заниматься этой рутинной работой, начинала их перебирать. При этом непонятно когда расстегнутая верхняя пуговица (в коридоре и прочих местах она исправно исполняла свою функцию) освобождала края кофточки, демонстрируя еще не утратившие морского загара упругие груди (она не носила лифчика), притягивая взгляд, отвлекая и возбуждая.

Иногда Марина перехватывала его явно заинтересованный взгляд, и ее фигурные губы раскрывались в мягкой обещающей улыбке. Тогда Сашка вскакивал и делал вид, что ему срочно нужно бежать на деловую встречу. Торопливо выходил на улицу, обходил квартал, остывая и избавляясь от острого животного желания... Он заставлял себя думать о жене, вспоминал желанное, вызывающее безмерную нежность тело Елены, ее ласковые руки, лицо с такими понимающими глазами, отгоняя этим образом постыдное звериное желание сорвать кофточку, обнажить незнакомое женское тело, смять его и, не слушая слов мольбы, не обращая внимания на сопротивление, вонзиться в чужую плоть, думая исключительно о собственном наслаждении...

Возвращаясь, он деловым тоном давал указания или спрашивал, что та сделала, и нерас-trаченное желание выплескивал в материалы...

Говорили они с Мариной, как правило, только о делах. Жизнь друг друга, проходящей за стенами редакции, не интересовались, хотя каждый знал о другом все, что известно было в редакции. Для Сашки не было секретом, что у той уже сын – первоклассник, который с первого сентября не хотел учиться. Что отношения между Березиными непростые (поговаривали даже, что они давно уже не спят в одной постели), а у нее есть некий тайный и влиятельный любовник (все были уверены, что у этого сводящего с ума формами женского тела не могло не быть обладателя). Сашка отчего-то решил, что любовник есть у нее и в редакции, и даже попытался его вычислить среди коллег, наблюдая за Мариной на собраниях и летучках, но явного подтверждения этому предположению не нашел: она одинаково постреливала глазами на Кузьменко, на Красавина и даже на Кантарова, хотя Селиверстова этого делать никому не позволяла и в свое время (до Сашкиного появления в редакции) отгаскала за волосы тогда еще совсем юную и самоуверенную Олечку... Разве что на Красавина поглядывала чаще. Да и тот дольше, чем требовалось, задерживал свой взгляд на ней. Но это было вполне объяснимо, Сашке тоже порой трудно было вовремя отвести свой взгляд...

Выпал первый снег, который тут же растаял (говорили, что в Ставрополе зима приходит с первым снегом, а заканчивается после тринадцатого), в командировки теперь ездили меньше, в редакции каждый день было многолюдно и шумно, недовольный голос Кантарова доносился то из одного кабинета, то из другого. Пару раз он попытался покричать в присутствии Марины и на Сашку.

В первый раз от неожиданности Сашка лишь молча все выслушал, а во второй, с трудом сдерживая себя, негромко и жестко сказал, что просит того выйти из кабинета и не мешать работать. Кантаров даже опешил, но то ли тон, то ли взгляд Жовнера заставили его ретироваться, правда, бросив реплику, что о плохой работе отдела он доложит на редколлегии.

После его ухода паузу заполнили по-разному. Сашка нервным вычеркиванием строк из редактируемого материала, а Марина долгим взглядом в его сторону, который он ощущал, даже не глядя на нее.

Она первой прервала молчание. Произнесла с сожалением и интересом одновременно:

– Отчего ты так не любишь Сережу?

– Я не люблю хамов. Особенно тех, кто считает хамство составляющей должности.

– Ты несправедлив. У него просто такая манера разговаривать. Он и с Галиной постоянно так разговаривает.

– Меня совершенно не интересует, как они выясняют свои отношения. Между прочим, так же, как и твои отношения с мужем, – все еще не в силах справиться с раздражением, неожиданно для себя закончил он.

И Марина вдруг заулыбалась, в ее глазах появились искорки, предшествующие словесной игре, к которой прибегает порой каждая женщина и в которой истинное желание либо прячется под покровом двусмысленных фраз, либо бесцеремонно обнажается.

– Действительно, давай поговорим о моих отношениях с мужем. Или о моих любовниках... Хочешь?

– Прекрати!

– Отчего же?... Разве я тебе не нравлюсь?... В редакции все хотят переспать со мной, это не секрет. И ты, Сашенька, тоже...

Она, не отводя взгляда, расстегнула еще одну пуговицу на кофточке, наклонилась вперед, отчего в разрезе заманчиво обнажился крупный сосок темно-коричневой бусиной в белом круге (она все же загорала не на нудистском пляже).

Он переводил взгляд с этой бусинки на ее лицо и обратно, не находя, что ответить, наконец хрипло произнес банальное:

– Застегнись.

– Боишься, что бросишься на меня?..

Она очевидно издевалась.

– Действительно, вдруг не выдержишь... – неторопливо убрала рукой грудь за вырез и застегнула пуговицу. – Между прочим, с Кантаровым я не спала. – Она не отпускала его взгляд. – Он мне не интересен как мужчина.

«А я?» – чуть не вырвалось у Сашки, и он торопливо произнес:

– А я думал – из-за Селиверстовой.

– Сашенька, какой ты наивный... Если я захочу, никакая женщина мне преградой не будет... – и он первым опустил глаза. – Но все-таки ты так и не ответил, почему не любишь Кантарова?

– Я ответил.

– Ладно, пусть так... Но вы ведь собирались вместе сделать хорошую газету. Ради общего дела мужчины ведь многое прощают друг другу...

– К чему этот разговор? – перебил он. – Он что, просил тебя быть посредником?

– А если так?

Она выжидательно посмотрела на него.

– Глупо, – только и нашелся что ответить. – Мы взрослые мужики...

– Да нет, не просил, – не дала договорить Марина, – а то еще вообразишь... Мне просто жалко тебя.

– Даже так?

Он постарался произнести это с сарказмом.

– Да, представь... В отличие от Сергея ты мне, как мужчина, нравишься, – она вновь прищурила глаза, словно что-то обещая, выдержала паузу. – Но у вас с ним разные весовые категории. И не только физические... Напрасно вы с Красавиным устраиваете заговоры, ничего у вас не получится. Кантаров вас раздавит... – лицо ее приобрело выражение гиганта, брезгливо разглядывающего пигмея. – Что вы сделаете вдвоем?

Он не стал реагировать на «заговор» и уточнять, откуда она знает об их разговоре с Красавиным, неуверенно возразил:

– Откуда ты взяла, что нас двое?

– Если вы рассчитываете на Гаузова, он на стороне Кантарова.

Мой законный супруг, хотя и не одобряет стиль Сергея, если и совершит нечто непредсказуемое, так самым большим подвигом станет его нейтралитет, не больше. С остальными

членами редколлегии все предельно ясно, они поступят, как начальство скажет... Так что, милый мой Сашенька, я передам Сергею, что ты Красавина не поддерживаешь... Лучше присоединяйся к нам...

Вышла из-за стола, огладила себя перед зеркалом, произнесла, продолжая смотреться, словно разговаривая с собой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.